

вадим фадин



Поэтическая библиотека

Серия основана в 1993 году

вадим фадин

утопнувшая память

Стихи разных лет

Москва 2011



УДК 821.161.1-1
ББК 84Р7-5
Ф 15

Художественное оформление серии
Валерий Калныньш

Фадин В.

Ф 15 Утонувшая память: Стихи разных лет. — М.: Время, 2011. —
208 с. — (Поэтическая библиотека).

ISBN 978-5-9691-0

Аннотация

ИЗ СТИХОВ 1963—1977

ББК 84Р7-5

© Вадим Фадин, 2011
© «Время», 2011

Как необычно зренье поутру!
Мне детский мяч — планета небольшая;
там девочка затеяла игру,
пытаясь устоять на шаре.

Ей стоило качнуться лишь слегка —
и начал шар неверное движенье.
Не задержу его — скользнёт рука,
не догоню (смешное положенье),

в песке увязну: экая напасть!
А мяч — в пути, неровными кругами.
Она ж — довольна. Чтобы не упасть,
переступает цепкими ногами

по шару, глобусу, по маленькой Земле,
встает босой стопой, не разрушая,
на горы, крыши, куклу на столе,
на девочку, стоящую на шаре.

1970

В полночь
над погасшими огнями кафе,
над квартирами спящих и сонных,
над авто́, построенными в каре,
восходит чёрное солнце.

Тени коротки, ярк невидимый свет,
парадные залы пустеют, пустеют,
наши женщины
ждут в одиноких постелях,
но машинки стучат,
и за перьями тянется след.

Скоро женщины ждать устают,
ими проклята чёрная наша звезда,
их под солнцем другим ожидает уют —
наших женщин уносят, гремя, поезда.

Есть жестокий закон:
не удержишь движенья планет.
Убегут поезда,
рухнут шторы в соседней квартире,
на часах до предела опустятся гири,
на бумагу польётся невидимый свет.

1963

Мерно качается маятник,
неустойчивый, пьяненький,
считает детей маленьких —
каждому дать по прянику.
Каждому, каждому, каждому...
Они же кричат: «Покажем ему!»
Не обращает внимания: «Пусть...»
Но маятник — это мой пульс,
переключает мысли: «минус — плюс,
плюс — минус», — бьётся в виске,
плюс — от простуды к весне,
минус — как справедливости лепта,
как в кино озорная лента,
запущенная с конца,
и так — по кругу;
но где же исход кольца?
Плюс: люблю подругу,
а потом — назад, круто.
Для чего включают минус?
Ждётся: уйдёт или канет, минет?
Плюс — словно Божья милость —
кажется, выпадает реже,
а его ещё надвое режут,

множа минусы, минусы...
Кто-нибудь, защити, смилуйся,
оставь одни плюсы,
так мне хочется.
А он: «Тогда всё кончится».

1965

Над вокзалом — паровозные басы,
печальные, словно я умер.
Над площадью, обезумев,
восходят круглые часы,
временем полны,
к себе притягивают взгляд,
но никто не видит луны —
в толпе её не хотят.
Им — луна?
Не нужна.
Спешат — к вагонам,
часам, перронам,
перинам, жёнам,

их руки скользят по перилам,
вниз, скорее, в ад, в туннели,
это они в казённых шинелях
заполняют проёмы дверей:
проёмы становятся меньше,
и луна — не видна,
осталась за дверью,
а толпа холодна, не верит
ни в Бога, ни в женщин.
Толпа — в драке у кассы;
ещё немного — завоюет планету.
Что мне делать — встать с указкой,
крича: «Смотрите — Луна!» —
прохожих лова за полы?
А они не идут на споры.
Среди них нет поэтов.

1965, Тюратам

В странных одеждах —
в колпаках, пелеринах,
в панталонах, плащах и тогах
встречались мне пилигримы
на наших разбитых дорогах,
а потом оседали в городе
странники, странницы,
и в итоге...
Лучше молчать об итогах,
потому что, уже не гордые,
они лишались странности,
надевали пиджачные пары,
как в казарме, садились за парты...
В странных мыслях,
во снах, в разговорах
встречались мольбы, откровения,
внезапные мне признания,
но кто-то знаки препинания
менял на знаки преткновения,
сгребая прежние в ворох,
и мысли становились пресными,
и затихали страсти;
калики, ненужно трезвые,
рыдали по прошлой странности.

1965

НА СМЕРТЬ АХМАТОВОЙ

С неправдой власти я ещё не свыкся,
ещё не свыкся с ложью похорон,
когда тайком несут на берег Стикса
и шёпотом зовут: «Харон! Харон!» —
и лодочнику: «Лишних не берите,
смотрите в оба: смерть слепа...
Гребите!» —
ведь позади блуждает в лабиринте,
спеша проститься, скорбная толпа;
она — нескоро,
выйдут — единицы,
а берег тих уже, и лодки с телом нет,
как будто вновь хотел уединиться,
уйти в себя, как в жизни мог, поэт.

Нас гонит стража над обрывом голым,
чтобы не дать сойтись толпой опять,
по одному — не поделиться горем,
последних откровений не узнать.

12 марта 1966

Босые девчонки с соседней фабрики
бегают в дождь по лужам глубоким,
а большие учёные
мастерят из бумаги кораблики
и бумажные самолёты пускают из окон.

Кораблики терпят в лужах крушения,
самолётики чертят в воздухе линии,
а большие учёные находят решения
древних задач, прочитанных в ливне.

1967

КАРТИНЫ ЧЮРЛЁНИСА

«Истина»

Что — истина? в руке — разящий меч?
сверкает сталь —
и долго ли до крови?
как соблазнительно:
один лишь взмах — и с плеч,
и как легко: сама свершит — и скроет.

Что — правда? осторожный луч?
не острота, но — пламя золотое?
как разыскать? — не видно из-за туч;
как избежать? — чревата слепотою.

Надежда ослепит — тогда всему ты царь.
Свет скипетра пусть призрачен, но жарок.

В руке горит и плавится янтарь —
простой свечи малюсенький огарок.

«Весна»

Перед концом зимы не должно ждать тепла,
оно, быть может, обернётся ложью;
еще сто раз осколками стекла
мороз усеет наше бездорожье.

Неверен преждевременный успех,
какой проходит быстро, без последствий.
Молитесь в марте, чтобы выпал снег —
хоть лёд, хоть снег, но лишь бы знать: последний.

Бывает март ненастней ноября,
но мокрый ветер серыми руками
в колокола звонит без звонаря,
не холод — беспокойство предрекая.

Колокола трезвонят невпопад;
по ком — они, и о какой напасти?
Когда же он, последний снегопад,
когда оно, желанное ненастье?

«Дружба»

Дружба — яблочком по глухой тропе,
по твоим следам и в густой траве,
и в толпе, в молве, и по дну — в реке;
дружба — солнца шарик в твоей руке,

не условный знак, не печать-кольцо,
а волшебный свет на твоё лицо,
а особый дар, Божья благодать...
Горячо в ладонях звезду держать.

«Сказка»

Легко и страшно верить в сказки;
сойдёшь с ума за полчаса,
приняв — с оглядкой и с опаской —
простую веру в чудеса.

Принять? Но ведь нигде на свете...
доселе — ни в одной из книг...
Вот если б так, как могут дети:
вообразить счастливый миг,

чтоб сказки — в ум, как в землю — семя,
чтобы как в сон, как ствол — в кору,
в несуществующее время
уйти — в волшебную игру.

Вот мальчик — оживил игрушки,
а в мире — солнце и покой,
и одуванчик-погремушка
поднялся над его рукой.

Он — в сказке, мальчик, в небылице,
он не поверит никогда,
что с неба чёрной хищной птицей
неслышно падает беда.

«Стрелец»

Беду не ищут — на ловца
сама летит случайной птицей,
и нелегко оборониться
при всём умении стрельца.

Пускай настороже стрела,
но бой — задача непростая,
когда нельзя в залётной стае
узнать зловещие крыла,

когда никто не подал знак,
чтобы уменьшить степень риска,
когда недопустимо близко
(в дверях!) распознаётся враг.

И схватка — вдруг. Так — без конца:
ждать вероломства и подвоха,
судьбу ловцов принять без вздоха —
рождённым под звездой Стрельца.

«Похороны»

Последний, лучший всплеск
закат
рассыпал медью в глубине долины:
единый луч, но отражён — стократ?
Вдобавок, странно двигалась картина:
свет близился, играя, как ручей
в далёком русле, а заря уснула
лишь на зелёных головах свечей
торжественного строя караула.

На самом деле этот светлый вал
был шествием со многими огнями,
как если б разгорался карнавал,
а музыка — отстала, будет днями.

Я ждал, что вскоре вспыхнет фейерверк,
сполох на небо бросит каждый факел.
Ход приближался — свет, как будто, мерк
из-за того, что всякий тихо плакал.

Фигуры были скорбными вблизи,
чадили факелы — мне разглядеть давно бы! —
и, зыбко очертанья исказив,
бросали блики на убранство гроба.

1967 — 1970

Всё — позже будет. Всё случится,
и слабость женская придёт:
тебе поможет мой приход
от прежней силы излечиться.

Ты, подчиняйся моей победе,
своей нечаянной судьбе,
совсем забудешь о себе —
не станешь думать о побеге.

Любовь придёт — и с ней не сладить,
её изведает сполна.
Не говори, что ты сильна:
тобой уже владеет слабость.

1963

Моей любви мешает разум,
он заставляет выбирать и ждать...
Едва дождусь,
как он меня опять
удержит, глянув леденящим глазом.

Капризных слов и шуток женских
не оценить холодному уму;
ну как сказать, ну как внушить ему,
что я везде встречаю совершенства?

Октябрь. Ум сильнее сжимает кольца —
оковы разума шершавы и тесны.

Ах, музыканты, спите до весны —
пока не зазвонят под снегом колокольцы.

1967

Испытания трудной судьбы
прекращаются
только во сне;
это — после долгой ходьбы
прислониться к стене
или босым войти в ручей:
вода снимает боль,
вода — вон из ссадин соль —
лучше любых врачей,
с губ — соль, пусть глоток мал.
Но всё. И не верь в её гладь:
вода — не лучшее из зеркал,
не смотришь: себя не узнать.
Жесты, взгляды, движений ход
в отражении неверны.
Может быть, и ласка волны
потому утешает, что лжёт?

1968

Единственный взгляд — и узнал,
что это и чьей руки —
из тысяч нарисованных лиц:
этот неправильный овал
и пустые — поменьше — кружки
в штрихах ресниц —
мой портрет,
нарисованный от меня тайком,
нарисованный на земле мелком
девочкой рядом с сеткой классов.
Белое на сером — минимум красок.
Так взрослых рисуют дети,
так они рисуют старших —
скучных, строгих, уставших —
езде на свете,
а потом
прыгают из квадрата в квадрат
нарисованной клетки
милые детки — с утра до вечера длится.
А взрослые ходят по своим лицам:
из лужи — на лицо — следят.

1968

ЗЕРКАЛА

1

Несовершенно
хрупкое стекло:
чудесная прозрачность взгляда
предполагает и прозрачность мысли,
и отражённый луч не сохранит
секрета красоты.
Поэтому-то древние царицы,
оберегающие тайны совершенства,
предпочитали зеркала из бронзы,
как лжи предпочитают недомолвки.
Язык металла крайне скуп, но честен:
вот, Нефертити умерла —
и бронза потускнела.

2

Вместе с людьми
умирают их отражения
в глубинах несчётных зеркал.
Значит, мы уйдём
даже из мнимых миров.
Может быть,
для того и занавешивают зеркала,
чтобы не видеть спин уходящих людей.

3

Ход времени — престранное теченье —
заметен глазу только в зеркалах.
Иная жизнь проходит беззаботно,
но стоит
лицом к лицу остаться с отраженьем,
как обнаружишь новые тревоги,
которые грядут когда-нибудь,
а может быть, — наутро.

1967

Н. Паперно

Живые стены обсерваторий
раздвигаются,
как губы при звуках слова,
ясный глаз,
вытянувшись из логова,
утопает в зимнем просторе,
и,
сложной системой стёкол уменьшены,
сведены в единую точку,
в глазах астронома
удивительно точно
звёзды
опять рисуют женщину.

1964

Ноль не значок —
извечное начало,
чужой зрачок,
расширенный ночами,
ослепший глаз,
что тянет без добра
ревнивый взгляд на нас
из давнего вчера,
ноль — стёртое лицо
и воплощенье дырки,
и страшное кольцо,
чтоб зверю впрыгнуть в цирке,
в стволе ружья — просвет,
и снова — глаз стрельца,
и чьей-то жизни след
с начала до конца.

1969

Настало время белого коня.
В ночь снегопада всё переменялось,
как будто гнев
сменила всюду милость
и стужа выбелила капище огня,

и шахматный
недобрый и надменный
владыка чёрных,
голову клоня,
сдаёт свой трон:
назрели перемены —
настало время белого коня.

1965

Крещенские морозы на дворе,
и скоро Сретенье, и далеко до лета,
и голос глух, глаза болят от света,
и неподвижно время в январе.

Начало года — время долгих дней.
Календарей ничтожные осколки
и сладкий дым, когда сжигают елки,
и милый лепет, ставший холодней, —

вот что тревожит, вот что тормозит
движенье гирь в какой-то важной башне;
в воротах застревает день вчерашний,
как жалкий гость, забывший честь и стыд.

Невыносимо бремя долгих дней,
но каждый год в одну и ту же пору
раздумьям уступают разговоры...
Зима уйдет — и что грустить о ней?

1970, Тюратам

В беде не оторваться от земли,
а в поднебесье жизнь легка,
ведь никогда, как корабли,
не сталкиваются облака,

как самолёты, в спешке, в тесноте,
воздев обрубок бывшего крыла,
рассыпав пассажиров и — дотла!
Но иногда мне всё же снятся те

аварии безмолвных белых масс,
когда два облака столкнутся — и на дно,
любовниками — в жаркое одно...
И птичьи перья сыплются на нас.

1969

Мы видим только части облаков,
всё остальное скрыто в синем
и тёмно-фиолетовом стекле.
Как безопасно бегать по земле:
споткнёмся, упадём, но ведь не сгинем
при свете спичек, фар и маяков!

А в небе айсберги несут мою беду —
невидимые грозные громады
усеяли вечерний небосклон.
Безумна скорость. Мчусь, как под уклон,
не замечая никакой преграды;
ещё момент — коснусь и пропаду.

Ещё момент — и гром из-за угла,
и свист свинца так непривычно близко,
и скрежет крыльев о подножья туч,
и радио: «„Титаник“ сверзся с круч»!
Мне б жить внизу — без страха и без риска,
но для чего же режутся крыла?

1970

Нелепо быть похожим на Христа
и знать: никто не замечает сходства,
и думать: ах, какое в мире скотство —
не знать меня — какая темнота!

На Господа я вовсе не похож,
и нет во мне ни капельки святого,
но что же вслед — ни взгляда и ни слова,
когда по людной улице идёшь?

1971

Но почему же слава — без суда?
А вдруг ошибка — этот груз на плечи?
Незванная нелепая беда,
как грех без наказания и стыда,
нагрянет в дом — и откупиться нечем.
Мне скажут: слава вовсе не страшна —
пускай придёт, пускай целует в губы.
Жизнь прежняя покажется скучна,
и постепенно надоест жена,
и наконец талант пойдёт на убыль.

И не бывает славы навсегда,
она, как снег, нежна и уязвима:
едва спугнёшь — исчезнет без следа,
ищи потом до Страшного суда,
проси и жди — пройдёт спокойно мимо.

1971

Часы и варианты сочтены
в любой игре, но что за наслажденье
предугадать в порыве вдохновенья
движения противной стороны!

Немалый труд — продумать все ходы
от часа сна до точной даты старта...
А риск огромен: так ли лягут карты?
С плохим раскладом близко до беды.

Табачный дым и споры до утра.
Куда ни глянешь, чинно и устало
над картами колдуют генералы:
ведётся в мире скверная игра.

1971

Затянулась игра, но не станешь же срок
устанавливать всякой азартной забаве,
и минуты считать здесь один только вправе —
под зелёным столом несчастливый игрок.

А бывает, не карты, а пир до утра,
и в разгаре гулянки не кажется странным,
что под нашим столом спит напившийся пьяным;
он проспится и выйдет — такая игра.

Я берусь за работу, луна за стеклом,
я — один над голодным пространством блокнота,
говорю сам с собой, увлекаясь, но кто-то,
я уверен, сидит у меня под столом.

1971

Смешно бояться акробатов,
но испытаешь тёмный страх,
столкнувшись где-то у Арбата
с идущим на босых руках

загримированным мужчиной;
он не бандит и не солдат,
но страх без видимой причины
сильней обычного стократ.

Среди вещей различной формы
взгляд тронет ту, чей странен вид,
и отклонение от нормы
встревожит и насторожит,

и кто-то праздный, на прогулке,
однажды среди бела дня
со мной столкнётся в переулке —
и отшатнётся от меня.

1971

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МАРСА

Приходит время противостоянья,
и кажутся доступными миры,
которые находятся за гранью
реальности, желаний и игры,

и кажутся не вечными законы:
приди — любой, нарушь их, измени;
волшебным фонарям иллюзиона,
как звёздам, люди верят в эти дни

и жаждут роли в новомодном фарсе,
чтобы на сцене обсудить вопрос
о власти: если власть на Марсе? —
и спорят увлеченно и всерьёз.

Потом проходит время наблюдения,
и спорщики торчат себе в пивной,
подчинены закону тяготенья
и власти, осязательной и земной.

1971, год Великого
противостояния Марса

Взгляните на ладонь свою, взгляните —
там линии ума, любви и силы;
она способна затенить светило,
хотя бы и стоящее в зените,
все звёзды скрыть под силу ей,
однако
что проку в ней, её ничтожна помощь,
когда в лесу попробуете в полночь
смотреть из-под ладони в гущу мрака.

1971

Был грех, связался с чудаками,
теперь — не брошу, не уйду;
они же — под лежащий камень
пустили воду, на беду,

и я не предскажу исхода
их безалаберной игры:
быть может, в ясную погоду
вода сорвётся вниз с горы,

зальёт корыта и колодцы,
на тропы нанесёт песку,
а может, камень повернётся,
дав путь ничтожному ростку,

и книги старые иначе
читаться станут, чем всегда,
раз вышло так, что под лежащий
под камень потекла вода.

1971

Я в эту зиму не поехал в горы —
мешала деловая кутерьма, —
и постепенно опостылел город:
у нас была бесснежная зима.

И прошлый снег я помнил очень слабо,
но лыжи приготовил всё равно,
но снежные подтаявшие бабы
стучались в освещённое окно
и подражали голосам метели,
и хоровод водили за стеклом,
привлечены то ль белизной постели,
то ли домашним гибельным теплом,

потом шептались у закрытой двери
и до утра меня лишали сна,
хотя в них и не позволяла верить
сухая равнодушная весна.

1972

Мике

Вот — следствие влияния весны,
тепла лучей, скользящих ночью с неба,
нехватки витаминов или снега:
мне снятся фантастические сны.

В них странные живые существа
приходят в дом и спать мешают лаем,
враждебны мне, хотя они, я знаю,
со мной в какой-то степени родства.

Ночь напролёт стараюсь их прогнать,
очиститься от тяжести и скверны,
но что-то, видно, делаю неверно,
и твари возвращаются опять,

глумятся, ржут, и лишь при свете дня
уходят, всё же, в запертые двери...
И тотчас ощущение потери
до вечера вселяется в меня.

1972

Святые Марина и Анна!
Читаю стократ жития.
В словах отражается странно
грядущая ноша моя.

Не нужно прямого примера —
следов не отыщешь нигде,
и не подражанье, а вера
одна помогает в беде.

Пусть будет их мудрость сохранна...
За дерзость, о Боже, прости!
Святые Марина и Анна,
храните на крестном пути!

1976

Когда конец работы близко,
надолго не суши пера:
вдруг завтра — тёмная пора?
Нельзя измерить степень риска,
какую требует игра.

Вдруг, в полушаге от победы —
полны чернильницы воды?
Вернёшься на свои следы,
а путь по собственному следу —
круг не почёта, но беды —

в барак сомнительной больницы,
где ночью — гвалт, а в полдень — тьма
(в моем понятии — тюрьма...),
где будут принуждать лечиться
врачи, сошедшие с ума:

пытать бессонницей и жаждой...
В уме — побег, пурга, леса;
пойдёт дурная полоса —
всё оттого, что я однажды
прервал письмо на полчаса.

1972

Н. Тарасову

Над городом плыли сигналы отбоя,
и, следуя чистому звуку трубы,
народ поднимался из долгих забоев,
не зная дальнейших изгибов судьбы,

и в дом человека с тяжёлой судьбою,
как будто забыв о конечности дня,
однажды друзья пригласили с собою,
желая больших перемен для меня.

Мы в двери ввалились весёлой гурьбою,
считая, что просто: попасть без стыда
в друзья к человеку с больною судьбою,
что если его затрудним — не беда.

Хозяйка спасала свой дом от разбоя
и, перед решимостью нашей слаба,
сказала нам: «Сердце даёт перебой...
Он вам не поможет... Такая судьба».

1976

За роспись храма не проси наград,
довольствуйся случайною монетой...
Пренебрегая доброю приметой,
ты, всё-таки, пока глаза глядят,
скорее — прочь, в леса, до края света...

Пускай столицу обесмертит храм,
твой княжеский, невиданный подарок.
В твоей землянке — восковой огарок,
горбушка хлеба, невозможный хлам
и мутный очерк бесполезных чарок,

и тонкий контур — чёрным по стене,
трепещущий в неверном освещенье,
он — память о недавнем озареньи,
о храме, о свободе, о цене
спасения не головы, но зренья.

Когда-нибудь твой след сотрут дотла,
пройдёт нужда вопроса и ответа:
твоя боязнь, твоя болезнь отпета!
И дерзко зазвучат колокола
собора, что возник у края света.

1972

На севере и вольность сходит с рук,
да вот дорога — долгая морока:
и в снег, и в темень, за Полярный круг,
в последнюю обитель скоморохов.

Как своего, туда зовут шуты;
у них — весна и половодье шуток.
Успеть бы поумнеть до темноты
не завершённых в полугодье суток.

Гуляет слух: там — край зимы и край
земли, и частые сполохи;
но мне сулят: «Увидишь русский рай», —
бежавшие от казни скоморохи.

Там с головою кану в старину,
от вольной речи грустью захвораю,
домой пойду, как ходят на войну,
когда не время поселяться в рае.

1972

ЗАКРЫТЫЕ ГОРОДА

В ответ на вечное «куда?»
я в воздухе неверный абрис
черчу рукой; я без следа
всегда летаю — в города,
которых зашифрован адрес.

В следах — кто нынче знает толк
(равно — во снах или в вопросах
скрещенья судеб)? Старый волк,
пусть ищет, если путь — как шёлк:
вся жизнь — на крыльях и колёсах.

Лечу, и мучает, как бред:
закрытый город — вот нелепость;
рождён тому уж много лет —
нет в адресе, на карте нет,
да полно, если эта крепость

и на земле? Контрольный пост,
за горизонт — ряды колючей
казённой проволоки? Прост
строй домов. А где — погост
и лавочка на всякий случай?

Смешно приметы старины
искать в кварталах общежитий
или в домах людей войны;

лишь человек со стороны
способен ждать таких открытий —

иных открытий долог ряд:
забава — скудные витрины,
скачая, изучать стократ...
Когда в толпу направишь взгляд,
сплошь — одинокие мужчины.

1974

Башмаки растеряв на гаданье —
босиком на жестокий мороз...
Я в Крещение застрял в Магадане,
словно к снегу ступнями прирос.

Там, боясь захворать, самолёты
собрались в неподвижный кружок,
будто ждали смиренно кого-то,
кто б огонь в лётном поле разжёл.

Так случилась беда, так случилось,
что внезапно накрыла пурга.
Все сдавались — в расчете на милость
или на пресыщенье врага.

Мы, нечаянно сбитые в лагерь,
по утрам приникали к стеклу,
чтоб увидеть, как жёсткие флаги
всё еще улетают во мглу,

и бесцветная муть небосвода
означала в такие часы
перспективу лишения свободы
возле взлётной глухой полосы.

Было слово красивое «рейсы»
далеко, как семнадцатый год...
И везде по России у рельсов
пропадал терпеливый народ,

кто куда — хоронить, на базары,
от жены, от тоски — за моря.
И ломались вокзалы, вокзалы,
лагеря, лагеря, лагеря.

1976

*Существует технический термин —
теплозащита.*

Безумие — защита от тепла
или — любви, как если бы избыток
возможен был, как будто пережиток
при непогоде — добрые дела.

Среди зимы — защита от добра?
Быть может, есть такой предмет науки.
Но кто-то мне отогревает руки
среди обледенелого двора.

Меня заводят в незнакомый дом,
поближе к печке придвигают кресло,
готовят чай: тепло уже воскресло,
течёт беседа. Суть, однако, в том,

что мне для испытания души
навязана к зиме теплозащита —
тулуп, где все отдушины зашиты
(для опыта все средства хороши):

я защищён от блага очага,
я защищён от чьей-то тёплой речи;

защита, угнетающая плечи,
хранит от друга, как и от врага,

и безразлично, падают слова
или на ветке каркает ворона.
Мне — от тепла глухую оборону
держать — и не подбрасывать дрова.

И видно: по ту сторону стекла
кого-то греться силой тащат черти...
Безумий много — от любви до смерти.
К чему ж ещё — защита от тепла?

1977

Удобный образ мира — три угла,
как будто есть углы добра и зла
и разума — деление несложно,
и это всё была бы ложь, но
видны в течение жизни три узла.

Любой — распутай, но не разорви,
не разруби, как сделает и школьник,
нарисовав обычный треугольник —
фигуру преткновения любви.

Фигура преткновения труда —
прямая;
с ней, однако же, беда —
ей противопоставлен сложный узел:
напряжена системой тяжких грузил,
нить в глубине растает без следа.

Все линии сойдутся впереди,
их начертить — рука вольнее ветра.
Отпразднуешь ошибки геометра,
лишь узел совести не береди.

1977

Что за проводы? Раз — навсегда?
С глаз долой — и отбой, слава Богу?
Только странно раскисла дорога
и от горя горят провода.

Никогда не проститься навек,
нужных слов не вместят телеграммы,
и любая дорога упрямо
в прежний дом приведёт на ночлег.

В старом доме — уют и тепло,
и, не помня о времени года,
захочу, чтоб была непогода
на дворе — чтобы долго мело.

Не смутит завыванье трубы,
чей-то бег по грохочущей жести.
Растеряв нехорошие вести,
где-то навзничь полягут столбы.

1973

Мимо окон, оступаясь в снег,
проплывает пьяный человек.
Еле-еле — шапка на затылке.
В безнадежных поисках бутылки
он забрёл в какой-то прошлый век.

Денег в доме снова ни гроша,
век проходит мимо, не спеша,
нет нужды в особом просвещенье;
дело только в лёгкости верченья —
как на острие карандаша.

Вольность мысли кажется близка
только меж застольем и постелью,
и у горла копится тоска
верным обещанием похмелья
в безнадежных поисках куска.

1977

Мороз давно рисует по стеклу,
и облака никак не сходят с неба.
Иду бродить до вечера по снегу,
вконец истосковавшись по теплу,

надеясь: улыбнётся во дворе
мне девушка, закутанная в шубку,
и ласково переиначит в шутку
мои слова о чёрном ноябре.

А может быть, другая подойдёт
и скажет, слог растягивая длинно,
что был мороз и вот сладка рябина
и на исходе високосный год.

1972

ИЗ КНИГИ «ПУТИ ДЕРЕВЬЕВ»

Я могу написать проливные стихи,
те, которые пахнут полынью и мятой,
те, в которых поют по утрам петухи
и лоснится ковыль, сапогами примятый.

Я могу написать снеговые слова
и стихи сине-бело-зелёного цвета,
те, в которых у ели бела голова,
а над нею — по-прежнему синее лето,
и матёрые ели — отцы, пастухи —
гонят стало зелёных ельчат по оврагу.

Я могу написать
в четырёх измереньях стихи,
но нигде не достану такую бумагу.

1962

ФОРМА ВОДЫ

Тени имеют форму людей
и форму ступней — следы,
и мы замечаем, что наши идеи
имеют форму среды.

Воде диктует форму сосуд,
свободу её крадя,
а верную форму воды несут
лишь круглые капли дождя.

И если отпустят дождь или гром
мысли из наших голов,
мы их увидим в небе своём
в виде воздушных шаров.

1964

Я — житель города.
Ни разу
не видел, как растут подснежники.
Я видел, как лежат бульжники,
и знаю, где лежат бумажники,
но не узнал нехитрой нежности,
под снегом спрятанной от глаза.

А в городе растут насмешники
и, как ростки под талым снегом,
скрывают теплоту под смехом.

1964

Деревянные игрушки
прямо с машины
свалены в угол,
одинаково беспомощные, смешные,
похожие друг на друга.

Девушка, не похожая ни на кого,
единственная для тебя,
дарит тебе ни с того ни с сего
одного из этих деревянных ребят.

Человечек, пришедший из лесов,
из страны зелёных игл,
внезапно обретает лицо,
становится твоим идолом.

Единственный твой божок,
как никто другой,
как никто любой,
от случайностей тебя бережёт —
и тебя, и твою любовь,

и ты забываешь, что где-то на складе,
грубо в корзины накинаны,
лежат не проданные за день
точно такие же идолы.

1963

В тайге живет смешной народец;
бывает, в сумраке лесном
копнёшь, и вдруг в руке — уродец,
нелепый добродушный гном.

Вот ручки-крючки, ножки-плети,
а голова — в земле, в траве,
но знайте: тайны долголетия
хранятся в этой голове.

Корявые тельца женьшеня
не рвутся в наши руки лечь
и учат нас долготерпенью,
умело избегая встреч,

а вы — найдите их, сумейте,
пусть незаметен лёгкий след —
ищите, ведь секрет бессмертья
для них давно уж не секрет.

Их можно услышать случайно:
шуршат, шуршат из-под пенька
друг дружке —
всё про эти тайны...
А мы — не знаем языка.

1968

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

Зачем ты сожгла мою кожу?
Удобную, добрую кожу,
которую спрятал я плохо?
Вот в зеркале я — непохожий,
как будто случайный прохожий:
чужой, неуклюжий и плоский.
Теперь мне не стать уже прежним,
надолго останусь любимым —
покорным и трезвым,
и пресным,
а прежним — лишь где-то в глубинах.
И ты не осталась такой же:
другая — неуловимо.
Ночами тоскую по коже,
в какой ты меня не любила.

1965

Дерево с рыжей девчоночьей чёлкой
горячие взгляды бросает лукаво.
Горящее дерево машет руками
и пальцами громко щёлкает.

Поодаль девочка смотрит на пламя.
Ей весело очень и страшно немножко.
Она головой качает плавно
и невольно топает ножкой
в такт движениям дерева.

Но вот,
словно пчёлы из жаркого улья,
взмывают лоскутики пепла серого,
и дерево превращается в угли.

А девочка перед зеркалом, дома,
мастерит себе рыжую чёлку,
и на паркете танцует долго,
и пальцами громко щёлкает.

1966

П. Антокольскому

Это вовсе не кровь на снегу,
это птицы клевали калину.
Это солнце щупальцем длинным
завершает дневную дугу.
На снегу разлетается блик,
он сейчас шаловлив и столик,
искры сыплются в радостном ритме,
и со мной о новаторской рифме
говорит самый добрый старик.
Я попал в расколдованный круг;
понимаю — поэма не вышла,
и потом неожиданно слышу:
«Вам бы нужно влюбиться, мой друг».
Мне бы нужно дождаться мечты,
потому что без нежности женщин
с каждым годом становится меньше
очень нужной стихам теплоты.
Мне бы жить в незнакомых краях,
задышаться от свежего ветра
и побольше бы слушаться мэтра,
изучая значки на полях,
и в ночи, приковавшись к столу,
мять стихов непослушную глину,
вспоминая, как светит калина
алой искрой на снежном полу.

1963

Я круг расколдовал.
Зачем я сделал это? —
свершилось вмиг, а миг — неповторим.
И помощи не ждал, и не просил совета —
один сидел и мучился над ним.

Из колеи привычной жизни выбит,
я ворожил не покладая рук,
и впереди неясно брезжил выход —
преодолеть проклятый этот круг.

И вот распались колдовские цепи,
где мнился выход — ярко грянул свет,
и вот уже ни выхода, ни цели,
ни круга заколдованного нет.

Брожу без дела: кажется, навеки
утрачен смысл завтрашнего дня.
Одна надежда — встретить человека,
кто смог бы вновь заколдовать меня.

1965

Есть музеи различных культур
и великих людей,
галереи картин,
галереи скульптур
и хранилища редких идей.
Есть музей янтаря.
Там застыли в густой желтизне,
вместе с камнем под лампой горя,
насекомые,
словно во сне.
Там на камне — узоры веков,
это — древние, мудрые мысли.
Не прочесть их, не перечислить —
если б вырвать их из оков!
Вот музей янтаря.
А музей января?
А седые морозные окна?
Неужели нигде на земле
не хранится узор на стекле,
нанесённый дыханием женщин?
И бесценный январский жемчуг
бесполезно растает, размокнет?

Как хранится дыхание между людьми?
Почему нет музея любви?

1963

СНЕЖНАЯ СКОРОСТЬ

Ныряйте в синие купели!
Ныряйте в белые купели,
где вдох свежей, чем снега горсть!
Ведь нам ни крылья, ни пропеллер
не сообщат такую скорость.

Как снежный ком, как гром — крещендо,
в провал, как в долгожданный сон,
лететь — и так принять крещение,
пройдя свой первый в жизни склон,

падение ускорять без меры —
безумье, как полёт в грозу.
Но нас всегда спасает вера
во что-то новое внизу.

1970

АЛЬПИНИСТ

Не кара и не испытанье мне —
я волен был и сам же сделал выбор,
и к небу лез, как муха, по стене
то в ярости, то в тёмном полусне,
и кто-то рядом
вниз ушёл — он выбыл,
сорвавшись, из рискованной игры,
легко тем самым вычеркнут из ряда
достойных высшей милости горы —
увидеть небывалые миры.

Я всё прошёл, прожив подъём как бой,
до пика, где — ни зверя и ни птицы,
и ждал, что трубы
славу и отбой
споют,
но близко под собой
увидел крыши выросшей столицы.

1971

Посадочные знаки на земле —
как в окнах свет, как угольки в золе,
там три костра, как встарь — для самолёта,
там люди ждут: у них одна забота —
ввести в дома и усадить в тепле

тех, кто сейчас вернётся от Луны.
Да, да, бывают и такие сны,
в каких, со спящим на борту, округлость
планеты тихо облетает «дуглас»,
нехитрый наш корабль времён войны.

Теперь смешно подумать, что горит
для тех, кто возвращается с орбит,
костёр в лесу для верной их посадки;
когда б и приземлялись в беспорядке,
три огонька никто не разглядит.

Но, пролетая к дому напролом,
так важно знать, что и в лесу ночном
горят огни и стол накрыт в землянке
(там — сало, чай, тушёнка в жёлтой банке),
и топят баньку — где-то под крылом.

1979

Речушка на краю земли
звалась Сия, смешно и гордо,
а мы её всего по горло,
брод угадавши, перешли.

Был путь чудесно осиян,
и хор звучал, как в храме старом.
Знать, окрестили так недаром:
не Та, не Эта, а — Сия.

Смирён был наш мужицкий дух
таким торжественным настроем.
О том, как мы ночлег устроим,
не говорили больше вслух,

а лишь о том, что имена
давались прежде не случайно,
и в том искусство, а не тайна, —
оно утрачено сполна.

Нам остаётся только слог
имён оберегать, лелеять...
Сия — она впадает в Лебедь:
тишайший должен быть поток.

1981

Облетала листва от сигнальной пальбы,
этот день был отмечен везеньем кому-то:
с самолёта бросали подарки судьбы,
от дождя укрывая зонтом парашюта.

Мы, наивные, вслед за почтовым мешком
ожидали гостей, каждый думал: «Ко мне бы...»
Если к нам и за год не добраться пешком,
почему б не свалиться на голову с неба?

От прощальной пальбы облетала листва,
раздирали контейнер дрожащие руки,
и не в силах была сохранить голова
содержанья всех писем за время разлуки.

Чей-то старый запас был мгновенно распит,
и начальник просил в поздравительной речи,
начиная с утра, не расходовать спирт
и патроны беречь для нечаянной встречи.

1976

Едва произошла посадка
на свете этом, а не том,
пилот послал в сердцах Камчатку
и осенил себя крестом.

Потом — людей сдувало с трапа,
слепило и глушило крик,
и запоздало чувство страха
сковало ноги и язык.

Я клял свою с пилотом дружбу:
могли бы вместе — ни за грош...
И кто-то из наземной службы
твердил: «Ну, командир, даёшь!»

В чужой земле обезоружен,
я ждал смятения мужчин,
а экипаж спешил на ужин
и веселился без причин.

1976

У полёта странная душа,
и порывы требуют разгадки;
глянешь вниз — и мысли в беспорядке
разлетятся по небу, спеша.

Над землёй впервые воспарив,
для себя откроешь твёрдость суши.
Отдалит неродственные души
ветра неожиданный порыв.

В раз второй посмотришь — свысока,
мир внизу покажется с овчину —
лишь восторги женщин различимы,
только их по лётчику тоска.

А в какой-то тридевятый раз
упадут нечаянные шоры,
до небес достанут разговоры —
о душе непонятой рассказ.

1983

Кто не летал, не знает, что за благо —
устать и духом пасть, и тут во мгле
увидеть свет. Не вытерпит бумага
такое передать всем на земле.

Прекрасно ощущение: «Теперь я
найду ночлег и, может быть, тепло!» —
и, на посадку расправляя перья,
нацелиться в оконное стекло.

Обманчивы прозрачные преграды,
и так устроены все фонари:
их лампы не защищены от взгляда —
стучащийся невидим изнутри.

А та, внутри, чужим глазам открыта,
её защите веры что-то нет.
И всё ж — стекло. За ним — приметы быта,
а перед ним — в траве натопан след.

1982

Пусть комики смеются над собой,
пусть в зеркалах себя же дразнят сами
и как бы посторонними глазами
увидят каждый жест нелепый свой,

пусть корчат рожи, глядя на экран,
где тени повторяют их движенья.
Естественно, увидев в отраженье
свои черты, подозревать обман

и не поверить в возвращённый вдруг
магнитофоном или просто эхом
свой голос — и неловкость скрыть за смехом,
узнав впервые всем знакомый звук.

Со стороны своя яснее суть.
Узнать себя из отдаленья зала
и времени — и то уже немало;
судить себя — и скор неправый суд.

...Нередко вот — нелепая молва,
её отвергнешь, словно небылицу,
но надо не хулить, а удивиться:
она — твои же прежние слова.

1968

ЗАПОЛЯРЬЕ. НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ

1

Попав впервые за Полярный круг,
я ждал, конечно, стужи и метели
(в Москве и то леса уже пустели),
но в позднем лете очутился вдруг
на шестьдесят девятой параллели.

Ещё сирени брезжили цветы
и листопад запаздывал со стартом,
как будто нашим устаревшим картам
немного не хватало широты,

ещё приходы северной зари
не предвещали летаргии ночи...
Я тщетно ждал сполохов. Между прочим,
хотелось изменять календари,
чтоб был любой послушен, а не точен.

Календари, и карты, и ключи
в чужих краях внушают опасенье:
по ним в неделе — только воскресенья,
а длительность счастливой полосы
зависит лишь от вашей точки зренья,

и потому окрестные леса
манили вглубь грибами и брусникой;

сентябрь был славен добротой великой,
и, в отдаленье, рыжая лиса
знаменовала цвет картины дикой.

2

Попадаю в тёплое течение.
Ветер зреет до ожесточенья.
Накрывает палубу волна;
теплоты особой в ней не вижу,
и к тому же так до неба ближе,
чем по карте — до морского дна.

«Всё ж — не лёд», —
звучит в чужом рассказе;
напролом прибьёт теченьем к базе,
а по связи — шлют из дому весть.
Улетаю с почтой голубиной...
Все на свете тёмные глубины
в лоции единой не учеть.

Тёплые течения на свете
держатся как будто не в секрете,
только все на картах — не найти;
меж людьми одной тяжёлой доли,
подчиняясь чьей-то тайной воле,
видно, пролегают их пути.

Что-то мы оставили на суше —
там течёт, спасая наши души,

тёплая протяжная река.
Не забуду, что́ видал вначале:
женщина стояла на причале,
будто провожала рыбака.

1979

Мике

Лишь я сказал, что не хочу
ни суеты, ни клятв поспешных,
мне дали поддержать свечу,
покуда чистили подсвечник.

Она плыла в моей руке,
минуты отмеряя точно,
напомнив мне о ручейке,
что движется в часах песочных,

и время тихое текло,
твердея тёплым льдом в ладони,
одновременно с ним тепло
текло, распространяясь в доме,

и мне казалось по плечу
знать сроки, истину пророчить
и до утра держать свечу,
следуя, как тает тело ночи.

1971

В изгибах рельсов, как в волне реки,
нечаянными бликами играя,
когда-то жили фонари трамваев —
наивные цветные огоньки.

По цвету можно было без труда
угадывать грядущую дорогу,
куда через вечернюю тревогу
непешные манили поезда.

Фонарики сулили всем уют,
как лампы в абажурах старомодных
в таких домах, куда с дворов холодных
гостей на чай с баранками зовут.

Трамваи, сонным миром проходя,
сигналили огнями: всё в порядке.
Я, пассажир последний, на площадке
ловил рукою капельки дождя.

Я быстро вырос. Поезда ушли,
но, и не видя их, я понимаю,
что живы, бродят старые трамваи
в далёких, странных уголках земли.

1971

В вагонах проводницы греют чай —
какой уютный на перронах запах!
Но пропадают люди на вокзалах,
как ни ищи и как ни выручай;

не в никуда, но всё же навсегда
на жёстких полках уезжают люди,
и утром их нечаянно разбудит
мне вовсе не знакомая звезда —

своя у каждого, ведь звёзд — не перечесть,
и кажется: ну что мне за забота
жалеть о встречах и, ища кого-то,
вдруг на ненужный поезд пересесть.

Вот — девочка. Она мелькнёт в окне,
чтоб навсегда пропасть через минуту,
приветливо махнёт рукой кому-то,
я буду думать, что, конечно — мне.

1971

Едут машины и время мотают на оси,
сводки известий мотают себе на антенны,
ленту шоссе мотают себе постепенно
и так незаметно въезжают в осень.

Как удивлённо смотрят вокруг пассажиры!
Кто-то воркует: «Ах, может быть, в осень — не надо?»
Плакаты твердят: «Берегись красоты листопада!» —
и чью-то машину уже занесло, закружило,

и чью-то машину опавшие листья заносят,
и в светофорах пропали зелёные краски.
Матери возят по жёлтым бульварам коляски,
осеннее время тихонько мотают на оси.

1971

Город прилёг отдохнуть, подремать после бега,
дневные капли застыли на краешке крыши,
затихли дороги, обложены ватой снега,
и лишь за углом на заборе кричала афиша.

Афиша гласила, рвалась от случайного ветра,
рвалась с надоевшего и неудобного места,
в пустом переулке, у белого, стылого сквера
слова её в полночь казались совсем неуместны,

не мог же я стрелки часов передвинуть руками,
вернуться на площадь, на свет и на вечер, к началу,
да так и ходить до рассвета, до шума кругами —
и всё потому лишь, что ночью афиша кричала.

1971

В конце двадцатых годов одним известным советским физиком была написана работа «Невозможность консервирования снежинок».

Случилось так, что на колхозном рынке
в июле баба снег носила в кринке —
рассыпчатый, сухой, как в январе.
Была мне в новость, по такой поре,
возможность консервировать снежинки.

Я взял одну, дивясь её строенью,
и понял, что подделка, повторенье
потребуют чудес, но не труда:
в храненье снег сродни стихотворенью —
всё будет либо лёд, либо вода.

Такой пустяк, как сохраненье формы,
определяет жизненные нормы
и, в будущем, превратности судьбы.
Вернуться к прежней форме? Если бы!
И дело тут не в недостатке корма.

В течение лет случайна остановка,
и в жизни раз бывает, что торговка
вам предлагает прошлогодний снег.
А вы — подозреваете уловку,
и предложенье вызывает смех.

И, проклиная вольную торговлю,
я нос кривлю и бабе прекословлю
и говорю: ценою — не смести.
А сам зимой от снега чищу кровлю
и для стихов чиню карандаши.

1978

ПОСЛЕДНИЕ ЛОШАДИ

Mute

Каждым утром на проспекте
раздавался мерный цокот,
каждым утром две подводы
возникали меж машин.
Подойдя ко мне, ребёнок
осторожно брал за локоть;
я читал недоуменье —
был вопрос неразрешим.

В «Детском мире» расхватили
деревянные лошадки;
покупать живых лошадок,
говорят, не суждено.

Дарим детям в утешенье
леденцы и шоколадки,
в выходные в утешенье
тянем горькое вино.

Мне приснилось, что ребёнок
утром странное наденет:
словно кучер, подпояшет
прапрадедовский армяк.
Кто-то лошадь купит сыну —
ах, хватило б только денег...
Мне приснилось, что в кармане —
завалявшийся пятак.

А потом печалью было
обнаружить недостачу:
одинокая телега
прокатилась под окном!
Шел пешком второй возница,
потерпевший неудачу.
Белый свет сошёлся клином,
острым клином — на одном.

По проспекту ходит лошадь,
город жив тележным скрипом,
сын кричит в восторге: «Папа!
Лошадь отдаёт поклон!»

Попрощавшись, лошадь канет,
убегут мальчишки с криком;
через час вернутся тихо,
каждый — горем опалён.

Понедельник — день тяжёлый.
Поищи халтуру, кучер.
Лошадиная работа
незаметна, не нужна.
Где-то лошадь затерялась,
город стал дождлив и скучен.
До рассвета беспокоит
чья-то тяжкая вина.

1977

Быть зрителем картины, в общем, грустной
другой бы отказался наотрез.
Тут время русское капелью грузной
неудержимо падает с небес.

Довольно набралось, и с каплей каждой
расходятся прозрачные круги.
В течение одно и то же дважды
не приведут усталые шаги.

Расходятся навеянные мысли
от мерного падения минут.
Вот девушка несёт на коромысле
пустые ведра (ливень тут как тут) —

я б с ней поговорил при всём народе,
да ей пока совсем не до меня,
узнавшего, куда круги уходят,
о чей причал ударятся, звеня.

Ей не понять, чем дорог день вчерашний,
а мне он так доподлинно знаком,
как будто я всегда на главной башне
служил поэтом и часовщиком.

1981

Выигрывают мальчики-калеки,
лишённые ребяческих утех,
судьбою заточённые навеки
в блаженной тесноте библиотек.

Им не пропасть для нас на стадионах,
и меньше шансов сгинуть у ларька,
и женщин, до несчастья влюблённых,
не повстречать почти наверняка.

Калек сильнее жалеют год от года,
от года год желают всё слабей,
и им дана великая свобода
не тратить жизнь впустую на хоккей.

Маяча грустно в глубине оконной,
они в уме воссоздают весь свет,
нам открывая новые законы
движения народов и планет.

1981

Человек с открытым сердцем
небывало крепко спал,
рядом девушки стояли
в одинаковой одежде.
Сон приснился нехороший —
будто жизнь пошла на спад,
налегла на сердце тяжесть,
не испытанная прежде.

Охраняя сон мужчины,
молча девушки цвели,
а в его открытом сердце
копошились инструменты.
Чтоб потом схватить по-волчьи,
боль маячила вдали.
Посторонним непонятна
важность этого момента.

1981

Вылечит — тот, кто умеет выстукивать грудь:
это искусство сегодня успешно забыто.
Вылечит — тот, кто умеет выслушивать грусть,
не вспоминая о собственных трудностях быта.

Часто без дела бесценный лежит инструмент —
наши живые и добрые, чуткие пальцы;
чаще — ладонью, как бабочку, ловят момент
или, ладонью, глаза прикрывают: не пялься!

Доктор приносит диковинный с виду прибор,
непонимающе пишет какие-то цифры.
Лучше б завёл о жите, о бытье разговор,
ясный больному, прекрасно свободный от шифра.

Я бы подумал, что время ещё впереди,
в неисчерпаемом, гулком, бездонном колодце,
если бы он осторожно коснулся груди,
если б послушал, как стук в глубине отзовется.

1983

Ребёнок слушал сказку о дожде,
а дождь стучал снаружи по карнизу,
ручъёв журчанье доносилось снизу,
и суши в мире не было нигде.

Вода — царила,
а сухой песок
насыпан был в одних часах песочных,
служивших лишь игрушкой, но точных,
всему на свете верно знавших срок.

Придумали, что и календари
неплохо было б делать в том же роде —
с песком, сыпучим при любой погоде
и безотказным, что ни говори.

Кто б склянку в нетерпении ни тряс
и даже с ног на голову ни ставил,
песочный календарь держался б правил
и отмечал, который год сейчас.

Историкам полезный инструмент,
он спас бы мир от подвездья стрелок,
затем, что тот, кто скуп, жесток и мелок,
не смог бы вдруг использовать момент,

переиначить сказку о звезде,
упавшей в воду в давнюю эпоху...
С тех пор дождит, и так ли это плохо —
в ненастье слушать сказку о дожде?

1981

МЫСЛИ ЗИМОЙ, НОЧЬЮ, НА КОСМОДРОМЕ

В такой мороз, когда над фонарями
стоят столбы немыслимого света,
осколков льдинок в космосе не счесть.
Гравюра на стекле в старинной раме
изображает вещью комету —
при том, что остаётся тайной весть.

Душа кометы чувствует, наверно,
себя как машинист электровоза,
угадывая сзади долгий хвост,
весь в искрах вылетающий из скверны,
из лязга стали, мрака и мороза
и всё-таки невидимый меж звёзд.

То, как я изменю чужую долю,
угадывать — ненужная затея,
когда не знаешь, что́ там, за спиной —
неосвещённый груз любви и боли,
произнесённых слов немые тени
или долги, что значатся за мной.

1982

ИЗ КНИГИ «ЧЕРТА»

Трудно заметить, как время сжигает мосты;
книги стареют — желтеют под вечер листы,
краска становится неосязаемой пылью
и оттого не всегда узнаются слова —
то же, что как-то ещё сохраняет молва
в воздухе нынешнем, вряд ли является былью;
так и на память тихонько теряем права.

Правда, что рукопись не поддаётся огню —
хватит охотников нас изводить на корню;
в воздухе свежем слова не подвержены глению:
книги сгорают, а наша судьба не проста.
Память, ко счастью, не остаётся чиста:
кем-то записана хроника богоявления,
кто-то взволнован нетронутым видом листа.

1988

Чудак, занимающийся не своею душой, а моею,
увы, никогда, никогда уподоблен не будет Матфею,
хотя может быть и печальней того, и что важно, правее,
и вот мой совет: пусть посмотрит рисунки на дикой скале.
Он сможет увидеть охоту, костёр и кончину мужчины,
и долгие страшные пляски по поводу этой кончины,
и самый процесс рисованья, увлёкший меня без причины, —
вот если бы все эти камни сложить на рабочем столе!

И самый процесс рисованья охоты, костра, погребенья
и, дальше, процесса... Как видно, отменное нужно терпенье,
к душе подбираясь чужой, опускаться ступень за ступенью
и очень бояться («и самый процесс...»), что смыкается круг.
Сомкнётся — при взгляде с высот, а на самом-то деле — едва ли,
с земли хорошо различимы витки бесподобной спирали,
упрямой пружины, чьи кольца пространство души распирали
и не позволяли повторов, и стали заметны не вдруг.

И зрителю надобно сладить с её впечатляющей силой —
не всякий к скале подойдёт, неумелый, смущённый и сырой,
ведь то, что так ясно казалось уже разработанной жилой,
при взгляде подробном всего лишь довольно туманный намёк.
И самый процесс рисованья даётся не с первого раза,
как те же охота и пляски под ритм первородного джаза,
а впрочем, рисунки — не тайна, достаточно верного глаза,
чтоб наш путешественник в души уверовал, что одинок.

1986, Дубулты

Как все, я назначаю веку цену
и — в споре с ним; поэтому на сцену
спешу, пока темно. Последний зритель
ушёл в жильё, куранты бьют отбой.
Чтобы порассуждать с самим собой
о времени, не надобен учитель,
а слушателя завлекать — разбой.

Близ моря полдень был постыдно весел —
приду, когда ряды свободных кресел
сольются с ночью, в пене и в печали:
я в споре с тем, с кем был накоротке.
Люблю, когда свеча плывет в руке,
и тёплые округлые печати
скрепляют протоколы на песке.

Ночь сновиденья пишет под копирку.
Открыта сцена — видно, отдан в стирку
тяжёлый занавес с летящей чайкой.
Идёт волна сочувствия, легка,
с галёрки, из глубин, издалика —
отмерит срок её строки случайной
того же века жёсткая рука.

1989

А мы ведь знаем: что-то ускользает
(я не о том, что жизнь проходит мимо),
блеснёт на миг в глазах — но не слеза, нет,
а большее... Наш день расписан, занят,
и спешка — вот напасть — неуголима,

и некогда приглядываться к бликам
(не верим в жемчуг в непотребной куче).
Когда же кто-то посветлеет ликом,
заговорив не так, как все, о близком,
торопим, чтобы повернул покруче,

в привычный круг. На этом повороте
и настигает смутная тревога;
предмет её совсем еще немного —
и разглядишь, но что-то в нужном роде
опять ушло, и скажешь: слава Богу.

1986, Дубулты

Эта жизнь — на ладони, как бы налегке...
Не хотелось бы жить в небольшом городке,
в три сезона ещё не расцветшем,
с жалким выводком девушек на пяточке,
с непременным его сумасшедшим.

Очень нужен бывает такой персонаж —
подчеркнуть образ мыслей порядочный наш
и опасность иного брожения.
Наша жизнь — произвольных сюжетов монтаж,
но не сумма их, а умноженье.

И, конечно, сюжет о своём чудаке
у дворовых сказительниц на языке,
среди прочих (о кухне, скотине,
о соседском белье, о зелёной тоске),
он — изюминка в общей картине.

Если выкинуть кадр, остальные — не впрок;
сказка — ложь, если в ней не прозрачен намёк.
Мой сюжет затерялся в прошедшем.
Остаётся уехать в глухой городок,
там — прослыть городским сумасшедшим.

1987, Дубулты

Мне странно жить в осеннем городке
и счёт вести цыплятам и удачам.
Я слышал, воздух призрачен? — Прозрачен!
И лист опал. Так славно, налегке,
стал взгляд скользить по обнажённым дачам

и открывать то башню, то фонарь,
смешные старомодные затеи.
Мне кажется, сюда попал затем я,
чтоб всё расставить, как и было встарь.
Но виды, правда, так меня задели,

что верю: воздух призрачен везде
и только ночью (тут пустеет рано)
фигуры пар преображает странно,
подобно отражению в воде.
Наверно, так невиданные страны

живут всегда: в сугубой тишине,
в забавах, для меня безмерно малых.
Так было встарь: сидели чинно в залах
(один — строчил), гуляли при луне...
И тонет мысль в каких-то там началах.

1986, Дубулты

А всё ж, сомнений нет,
была волшебной флейта.
Жизнь без неё — скучнее и бедней,
слагается из неподвижных дней,
и кажется уже: весна и лето
на этот раз склонились перед ней.

Конечно, первыми о ней узнали дети:
бежали на её прозрачный звук
мальчишки — и вставали в тесный круг,
и забывали обо всём на свете.
Так в наши дни искус приходит вдруг —

с портретом Моцарта,
с задумчивым рассказом.
Идут часы, летит с деревьев пух,
я обращаюсь в неуёмный слух
(четыре чувства дремлют, с ними — разум),
и трудно выбрать одно из двух:

идти ль под музыку за дальние пределы,
остаться ли под речи взаперти?
А мальчикам обратно не прийти.
И вот уже аллея поредела,
приоткрывая дали на пути.

1986, Дубулты

Учителю снится неверность ночных катакомб,
дневная дорога как будто исчезла в проране,
сюжет детектива мелькает на сером экране,
учитель в потёмках с постели встает босиком
и шарит на полке фонарь, припасенный заране.

Учитель в рубашке идёт напрямик через двор
(вприпрыжку, затем, что танцует, похоже, от печки),
сбиваясь с нелёгкой тропинки, спускается к речке.
Разбуженный класс, почему-то сдержав разговор,
гуськом семенит, захватив по тонюсенькой свечке.

Неважной цепочкой по склону текут огоньки,
и даже газетчик лихой не обмолвился б: «лава».
А всё же никто не спросил,
что за путь — вдоль реки,
идут среди ночи, прошедшему дню вопреки,
и верят учителю — значит, прошедшая слава

со школы начальной ещё не забылась никем,
и так же неясен исполненный план сумасброда —
ему подчинился без веры бы лишь манекен,
а тут и Иуда нашёлся; к тому ж, в тайнике
для чёрного дня есть заклатья особого рода.

Но старая вера до первого спора прочна,
потом расползётся — не в моде добротные вещи;

учитель напрасно взывает, весомо и веще.
Как будто нарочно упрятана в тучи луна,
и старые карты учебника выглядят ветше,

как если б в дороге дневной их разглядывал класс —
округа меняется, многое в книгах неверно.
Лишение славы должно узнаваться наверно —
иные предметы проходятся в школе сейчас.
Иные предметы подчас возникают из скверны.

1986

Наш разговор, быть может, даст плоды —
сейчас дай Бог наметиться побегам;
вести его — великие труды:
важна прямолинейность борозды —
шаг в сторону считается побегом.

Мы осторожно пробуем слова —
факт попадания можно выдать взглядом.
По тонкой нити ты идёшь сперва,
затем в романе — новая глава...
И страшно видеть, что творится рядом.

1987, Дубулты

Забывтые цветы скучнеют на столе,
забывшего цветы не отразить в стекле,
забытое перо не помнит о крыле,
забытые слова витают между нами,
и, в общем, всё равно, когда придёт ответ.
Девчонке невдомёк, что ей несли букет,
но если нет потерь, то и печали нет,
а радости нет-нет да светят временами.

Забывтые стихи мельчают в суете,
и кто там — о любви? Нет смысла — в пустоте...
Единственный букет — на мраморной плите,
его сюда принёс неузнанный прохожий,
и впору тут затеплить язычок свечи,
а то и преломить, как в марте, куличи...
Принесшего цветы попробуй уличи:
с цветами или без
идём — и все похожи.

1986, Дубулты

Игрушка Люмберов явила особенный кадр:
носильщик несёт чемоданы — декабрь — дебаркадер
не меньше собора в Милане. Секрет мирозданья
вот-вот будет выдан движением тени в стекле
(так тайна рассказа трепещет в листке на столе).
В потёмках вокзала предвидится зал ожидания,
набитый людьми, проводящими время в тепле.

Все — ждут.

Среди прочих заметны влюблённые пары:
одно из условий любви — нарастая по пара-
болическим правилам, быть без истории вовсе;
любовь не выносит оставленных в зеркале лиц.
И лучшее — ждать. И любовники падают ниц,
пальто подстелив.
Время тонет в искусственном ворсе,
утратив надежду скользнуть на равнины страниц.

Все — ждут.

Кто убог, кто обижен — ждут новых пришествий,
и ждут понятия среди белого дня происшествий,
и ждут назначения пенсии взрослые люди,
иные — работы, какую бы славно начать,
и ждут сочинители — книгу подпишут в печать,
и дамы, боясь сквозняков, рассчитали, что будет
когда-нибудь время, в котором забудут печаль.

А мы — не пугаемся старости, те, кто снаружи,
поэтому — вдруг умираем, как птицы от стужи:
летели — и камнем. Расставят за нас запятые,
ведь кто-нибудь ждёт, что стеклом изойдёт потолок.
И если, бесформенный, брошен на площадь платок,
тогда вырастают заждавшиеся понятия,
впустив на мгновение в двери свободы глоток.

1986

И вот что некстати: промчалась комета Галлея,
её фотографии нет ни в одной галерее —
работа ещё далека от витания в небе,
и важно, что тёплая осень подходит к концу.
Покуривать трубку мне было бы очень к лицу.
Но вот что некстати сегодня: забота о хлебе,
когда час за часом неделя идёт по кольцу,

а сам добровольно себя заточаешь в квадрате,
в котором уж точно привычные вещи некстати.
И сам я некстати на фоне подвижного люда,
который себе из всего извлекает резон —
его-то на море не выманить в мёртвый сезон,
когда одиночество тихо сквозит отовсюду
и так откровенно подчёркнут пером горизонт.

Но каждая мелочь, известно по фильмам, — улика,
устроено мудро на свете, что всякое лыко
годится в строку, попадая в хорошие руки.
Зажившейся осенью мелочи очень в цене,
и только нестати никто не подходит ко мне,
боясь занести городские скромные звуки,
хотя я зелёную лампу держу на столе.

1987, Дубулты

ПОКУШЕНИЕ

Это редкое счастье, когда, вдохновляя езду,
Бог, сидящий на правом сиденье, отводит беду:
В современных машинах водитель всегда на виду,
как на мушке, и вовсе не верит в присутствие Бога,
словно тот близорук в небесах, ослеплённый луной,
пулемётную очередь видя как дождь проливной,
и один на один остаются шофёры с виной:
до небес далеко, а реальны — закон и дорога,

и сидящая справа подруга отводит глаза —
невдомёк, что у встречной машины легки тормоза,
а противник расчётлив и ходит, понятно, с туза,
и надежда на козырь не то что мала, а нелепа,
оттого и ответчик допущен теперь на порог —
убеждает, что надобно скромных держаться дорог.
Только если на правом сиденье присутствует Бог,
кто же будет чужим поучениям следовать слепо?

1988

В нашем не очень-то строгом порядке порою
тянет отвлечься от нужного дела, не скрою;
так и пребудет, пока не найдётся героя,
чтобы на нём задержать разбежавшийся глаз,
чтобы в пустыне издать подобающий глас:
он же — уйдёт в неожиданном месте из строя,
слишком привыкнув во всём обходиться без нас.

Впрочем, всё то же нетрудно представить иначе:
чтоб отыгаться на нём за свои неудачи,
чтоб усадить за решение старой задачи...
Он — покусится на ваши жильё или хлам;
тяжесть удвоишь, судьбу поделив пополам,
всю уступая герою, умножишь, тем паче.
Так и размысли, что лучше: ярмо или срам,

так — опасайся невидимой грани стриптиза,
так — балансируй на зыбкой полоске карниза,
в зеркало глядя, придумай свою Мону Лизу,
чтобы лукавство верней сохранить на века.
Было бы время, и если послушна рука,
то, чем богат, раздавай, не противься капризу —
лишь не подаришь восторга от черновика.

1987

Всё, чем богат, раздавай по капризу любому —
новые капли стучат по стеклу лобовому,
время идет всё равно, объясняя, как проза,
тайную суть заскорузлых интриг на земле;
что-то ещё остаётся в остывшей золе,
спутница тянется к югу, где теплится бронза,
вяло внимая речам о грехе и о зле.

Время избранников метит, рисуя морщины;
можно придумать часы и другие машины,
но не обгонишь попутной с тобою минуты —
что для машины понятия зла и добра?
С бронзой и золотом юга роднились вчера
(кстати, сейчас они тоже полезны кому-то),
но при возможности движемся в край серебра.

Ветер старается вещи сорвать с антресоли,
дождь устаёт, диалог иссыкает без соли
(правда, её-то в избытке в серебряном море —
на берегу завершу свой рассказ о добре).
В эти края хорошо попадать в ноябре,
чтобы кристаллы сверкали острее в разговоре,
чтобы и руки остались потом в серебре.

1987

Давно забыта суматошность лета,
вернётся, нет ли — как-то всё равно;
теперь — покой, а лишнее — отпето.
В огромном доме лишь моё окно
одно горит до самого рассвета.

По совести, нечастая удача —
с самим собою быть наедине:
теперь и я хоть что-то в мире значу
и в этот раз
дарованное мне
по пустякам, как прежде, не растрочу.

Заботит только быстротечность срока,
а значит, и конечный счёт удач:
так часто время тратится без прока!
Вот и вчера я слышал женский плач
и был смущён наглядностью урока.

1986, Дубулты

В старинных гравюрах не частый сюжет —
музыкант в интерьере;
каких-то не стало портретов — неведомы наши потери.
Сочувствовать, кажется, можно

непонятой жизни Сальери:
не самое скверное было — остаться в прекрасной тени;
а хуже другое — бывало, сомненья ворочались глухо,
работу ума не теснила работа изящного слуха,
пусть точному знанию формул нет места в имении духа,
с какой непонятной любовью их в этот предел ни тяни.

Теперь-то мы знаем наверно, как мало спасают любви,
гораздо дороже бывает весомое действие любое
и даже решение формул, на взгляд и на вкус лобовое —
вот если б из нот откровений легко было строить ряды!
Куда ж со своею любовью деваться и с Божьею искрой? —
последнюю, впрочем, упрячут

в какой-нибудь баночке быстрой,
и прежде, чем скажешь умельцу:

«Линейки для записи выстрой», —
посыплются нотные знаки в предчувствии близкой беды.

Куда же при этом — с любовью? Давно не летают амуры,
которым законное место в виньетке старинной гравюры,
печатаем ноты — как должно,

наверно, печатать купюры,

В светлой раме окна — полюбуемся видом —
напоказ освещён мой теперешний идол,
золотая сосна, невозможной рукою
извлечённая, вся, из куска целиком —
талисман, что с собой не прихватишь тайком;
я привязан к нему — он хранитель покоя,
он хранитель любви — и тебе незнаком.

По утрам он выходит ко мне из тумана.
Жаль, негоже делить пополам талисманы:
будет всяк при своём, раз не делятся доли —
так какой ты взяла бы на жизненный срок,
мне хотелось бы знать? Любопытство — порок,
и затем остаётся единственной в роли
золотая сосна с белым морем у ног.

1987

КАФЕ «АРАБИКА»

У моря другого, у тёплого моря стараются греки,
чтоб всякий вошедший пустил свои корни
в кофейне навеки —
их с детства учили заваривать
чёрный размолотый порох,
а нам преподали когда-то,
что дым не живёт без огня.
Нежданные страсти на юге
легко разгораются в спорах,
и есть своя прелесть, наверно,
в сражениях вздорных и скорых,
но дым, загустевший в кофейне,
туда не пускает меня.

У здешнего моря течет по гостинице
запах лаванды,
пришедший на лодке никак не похож
на туза контрабанды,
ведь годы и вёрсты прошли, и затеи —
иные любимы;
лишь чёрного пороха бочка хранится
в кафе неспроста.
Пускай говорят, что в округе
издревле живут нелюдимы,
но пахнет не порохом осень,
и, почты верней голубиной,
слетают догадки о прошлом
на светлую площадь листа.

И я — завсегда у стойки, где варится кофе без дыма
и рушатся в мельнице зёрна, как вещи чёрные дыры:
пространство и время беседы сливаются без перехода,
и можно уже не трудиться,
 чтоб выбрать начало верней, —
последние новости с моря,
 озябнув, несут пешеходы;
пристрастному взгляду открыты
 прозрачные козни погоды
и свежее хитросплетенье
 прозрачных и цепких корней.

1987

Так и не встретимся, будешь стоять на пороге,
чтобы биограф сочувствовал нам в эпилоге —
наши дороги иссякли, не встретившись в точке,
вот и глядишь на прохожих, считая года:
каждый уходит из жизни твоей навсегда,
вот и глядишь на часы, сочиняя отсрочки,
вот и следишь, как течет вдоль дороги вода.

Можно, конечно, наивно идти на подлоги —
знаю примеры, — но навыков нет, и в итоге
так и не встретимся. Много дверей в коридоре,
не угадать, где стоишь, прислонясь к косяку.
Столько невстреч происходит на нашем веку,
что и с тобою, себя утешаю, — не горе.
Горе — привычка печали сводить к пустяку.

1987

*Не читки требует с актёра,
А полной гибели всерьёз.*
Б.Пастернак

Напрасно томил режиссёр понятых в карантине —
ружьё на стене не заряжено в первой картине,
а зритель, знакомый с игрой, ожидает развязки,
привычной за годы — поди-ка его ублажи.
Мы тоже вторжение в души встречаем в ножи,
со школы запомнив секрет разбавления краски,
а если честнее — мы слишком привыкли ко лжи.

Даётся непросто гастрольная наша поездка:
забылся язык — и путёвкой зовется повестка,
и только у зеркала правду расскажут морщины,
стеснённые в кольца. Кольцо годовое не врёт,
не скроет, каким выдавался задуманный год,
и если дурным, то какие известны причины.
А нам ещё хочется что-то узнать наперёд,

продолжить пока не сомкнувшееся полукружье:
раз в жизни стреляют и незаряжённые ружья
(пожалуй, одно это правило неоспоримо).
Вину бутафора докажет, конечно, допрос,
но дело в аншлаге; на правду — особенный спрос,
как будто впервые актёры играют без грима,
без всякой подсказки предчувствуя гибель всерьёз.

1987, Дубулты

Стремленье к соразмерности — ошибка?
Несимметрична в зеркале улыбка,
бессмысленно подправленная гримом,
хотя и симметричны зеркала.
В любую даль взглядишь из-за угла —
и вот она во всём пространстве зримом
совсем не та, что до сих пор была.

Не жди от жизни чуда повторенья:
вмешается не Бог, так сила тренья —
сместит часы, и к месту давней встречи
та девушка сегодня не придёт;
в любую даль гляди, за поворот:
просторы те ж — те времена далече.
Она и не узнала б: ты — не тот.

1986, Дубулты

У мёртвого, в смысле старинном, сезона
на взморье, у строгой балтийской черты,
вся прелесть в одном: для любой суеты
здесь — недостижимая, мёртвая зона,
предел невозможной в столице мечты,

и нет остроты в постановке вопроса
о благоприятной для жизни среде:
в осеннем безлюдье я — рыба в воде,
орех в оболочке, не знающей сноса,
влюблённый, забывший, что время беде.

Я многое знаю о зоне обстрела —
свистят с перелётом слова из свинца.
Брожу, невредим, вдоль черты без конца;
неприкосновенны досуга пределы,
и я дотемна не теряю лица.

1989

Всё ж меньше тянет в новые места,
чем в те, в которых что-то случилось с нами:
мы в них всегда — привязанностью, снами —
и, приезжая, с нового листа
читаем роль в своей любимой драме.

Развязка слишком, кажется, ясна,
хотя я думал в прошлый раз иначе.
Рукопескаю авторской удаче.
Но много ль нужно — старая сосна,
безлюдный берег, брошенные дачи.

1987, Дубулты

Вид из окна не даёт живописцу покоя —
сколько же можно одною и той же рукою
маслом писать горизонт и холодное море?
Тонкою тушью рисую всё ту же черту,
что начинается где-то в мазутном порту,
а продолжается в чистом солёном просторе —
некий рубеж, за которым ищу пустоту.

Чаша, лежащая — до,
наполняется новым,
всякое утро — своим, отношеньем к основам,
тайна же в том, что, по мнению неучей, море
вовсе лица не меняет — вода и вода;
взгляд, посторонний для вольной стихии, всегда,
сам — безучастный, приносит лишь горькое горе,
также и — морю, в него поселяя суда.

Если же верить художника чистому взгляду,
чуждо морям кораблей безобразное стадо —
он бы оставил лишь чаек, дорвавшись до власти.
В чистом стекле отражаются связи времён.
В строгом источнике черпает тот, кто умён
или дошел до черты, избегая напасти,
или в отцовской семье как поэт заклеимён.

1989, Дубулты

Вернуться на берег, где дети пускают небесные змеи,
туда, где пространные речи вести сам с собою посмею
без риска прослыть сумасшедшим
(но скучно бывает без риска,
и риск несомненный —
прослыть эмигрантом в приморском краю)?..
Готовясь к отъезду, просторные мысли помельче крою,
а прочие сборы излишни:
до моря так просто, так близко
доехать, лишь надо у кассы часок помаячить в строю.

Вернуться на берег?..
Я строю подробные дальние планы,
как будто ко мне подступает бродяжье кусачее пламя,
а дом — промолчу, потому что меня выживает из дома
печальная зависть к приезжим, из коих любой одинок.
...где дети пускают воздушные змеи?
Там прежний песок
уютно накрыла невинного раннего снега истомы,
а грешное море январь переделал в корявый каток.

Вести сам с собою посмею пространные вольные речи,
надеясь до истин дойти, подозрениям старым перечая,
а дома приходится даже глагол обрывать на приставке
и трудно сплести мало-мальски приличную связную цепь;
в построенных планах сплетаются накрепко средства и цель,

толкает азарт в одинокой игре увеличивать ставки,
уже не боясь ожиданье удач отразить на лице.

Вернуться?

Неплохо б приехать на море, как детстве, впервые.

Небесные змеи гуляли б с детьми, словно сторожевые
собаки; известия сверху стекали бы в руки по нитям —
мы так до войны познавали высокого ветра слои.

Сегодня лелеем неверные воспоминанья свои,
по новым дорожкам навстречу быломu несёт по наитью,
и кстaти воздушные змеи и долгие речи сии.

1986

ИЗ СТИХОВ 1979—1992

Жить легко без устоев и веры,
очертив по молчанию круг.
Но подступит сомнение: вдруг
существуют поющие сферы?

Ты, конечно, воскликнешь: «Друзья,
это дело не нашего круга —
тем, кто верует, слышится fuga,
но незрячим отвлечься — нельзя!»

Ты застынешь, испачканный мелом,
поражённый гипнозом черты...
Есть на свете уют глухоты —
он понятен таким же несмелым.

Остальным — на крутом вираже,
на другом обороте спирали,
слышен хор: голоса зазвучали
и теперь не умолкнут уже.

1982

ВДОХНОВЕНИЕ

Когда к утру прорежется крыло,
почувствую, как вместе с низким бытом,
со злой толпой, с рабочим днем разбитым
и с тем, что называю «ремесло»,
мой разум над землёю вознесло.

В высоком небе оглянусь кругом
и ахну: как подробно всё знакомо! —
чужие лица, добрые, как дóма,
и быт, как освежённый утюгом,
и друг, не бывший, будто бы, врагом.

1982

Кому же спится белой ночью?
Грешно искать каких-то снов,
когда возможность есть воочью
увидеть снятие мостов.

Я на прогулке неурочной
ступил к черте на полшага,
не веря связи, столь непрочной,
что не удержит берега.

И вот уже неторопливо
встаёт стеной в полнеба мост,
и наблюдение разрыва
приятно будоражит мозг.

Непоправимо развлеченье,
узлы разрублены плеча...
И я на тёмное течение
смотрю глазами москвича.

1979

Как и звуки, обманчив огонь на воде:
разгорится в ночи — и достанешь рукой,
ну а плыть — как к далёкой-далёкой звезде,
словно Млечным путём, задремавшей рекой.

И устанешь грести: может быть, он — нигде,
этот дальний огонь, до какого рукой
не подать? Или всё же тепло и покой
обещает мерцающий этот предел?

Будешь долго прикидывать этак и так,
что там — лампа в окне или только маяк,
или, брошенный кем-то, не гаснет костёр?

Всё равно, мне увиделась нужная цель,
на сегодня — одна, завтра — целая цепь:
у звезды одинаковых много сестёр.

1982

Так виделась вечерняя толпа
в скептическом прозрении, когда-то:
несчастные разрозненные пары,
повисшая острота, что тупа,
прохожий в форме сплюснутого шара,
прохожий в форме, кажется, солдата.

Потом я был, на счастье, ослеплён,
и старики твердили о недуге,
но вечером на тесном тротуаре,
прекрасно обступив со всех сторон,
кружились девушки, и я, в ударе,
острил впопад. На этом, высшем, круге
хотелось бы остаться навсегда,
от докторов спасаясь без оглядки.

Прозрение пугает наповал.
Мы на ночь отключаем провода,
чтобы звонок на помощь не позвал.
Спокойна совесть. Что-то не в порядке.

1981

Есть повести печальнее на свете,
чем та... Теперь примеров пруд пруди:
Ромео не вздыхает по Джульетте,
её освищет — это впереди;

иного сотворит себе кумира
для оправданья собственных затей...
Печально жить, не узнавая мира,
и сторониться хищных глаз детей.

1981

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ 81-ГО ГОДА

В буфете звякают копейки.
С сержантом ссорится алкаш.
Из зала вынесли скамейки,
чтобы не портили пейзаж,

и сразу стало гулко, стыло,
а неприкаянный народ
как будто ярим ветром с тыла
в нежданный вымело поход.

И люди новые спросили:
«Что за внезапная беда?
Неужто с этих пор Россия
уже не едет никуда?»

Неужто больше с дури, с горя
никто не покидает мест,
терпя безделие и хвори,
и новый непосильный крест?»

И люди новые зывали:
«Возможна ли ещё езда?» —
и растворялись в гулком зале,
и пропускали поезда.

1981

Когда поспеют силы злые,
предскажешь им худой конец,
но ждёшь: для поражения змия
издалека грядёт ездец —

через хребты, долины через,
победоносный из вождей.
На черенке — кобылий череп,
омытый тысячью дождей,

как бы следы безумных оргий —
круги, пропавшие для глаз.
Верхом на палочке — Георгий.
Сейчас спасёт от змия нас! —

ведь мы в ученье преуспели
и жития святых прочли.
Победоносец в самом деле
спаситель близкой нам земли.

Исход решён — о палец палец
нам ударять какой же прок?

А он не к нам спешит, распарясь!
Вот добрым молодцам урок.

1981

Завидуя, глядим в прошедший век,
где жизнь текла спокойнее и проще,
был чище воздух и белее снег,
не тяготился ум избытком мощи.

Расцвеств таланту в предрассветном сне
казалось проще самого простого...
Но Пушкин позавидовал бы мне,
узнав, что я — читатель Льва Толстого.

Наш календарь — печальный счёт потерь,
поверь ему — в душе светло и пусто.
Но я богаче Пушкина теперь
На Пушкина, Цветаеву и Пруста.

Живи сейчас, таланту своему
он дал бы ход совсем иной фигуры.
И впору посочувствовать ему,
не знавшему большой литературы.

1981

НОВОСЕЛЬЕ

В окне рассвет, похмельно ранний,
читает тишину с листа.
Квартира без воспоминаний
патологически чиста.

132

Её не оживит веселье,
лихая, долгая гульба.
Не знать печали новоселья —
была бы славная судьба.

1982

СОН О МУЗАХ

Я наконец узнал, пускай — во сне,
какие музы не явились мне.
В руке одной, открою для примера,
была не лира чуткая, а мера —
у всадницы на вороном коне.

Другую безобразила шинель,
а третьей управлял тяжёлый хмель,
иных заботил только отклик тела,
последняя ж пришла как бы по делу,
неся — опять! — не лиру,
но свирель.

Был ранний век, когда душа чиста.
И с этой тихой дудочкой у рта,
наивная, как дочка крысолова,
она легко подсказывала слово —
и выходила в дальние врата.

1985

133

С подмостков под вечер на землю спускается мастер
и дома находит еду и земное тепло,
и дома — театр, гениально разыграны страсти,
ружьё — на стене... ни при чём тут охотничьи снасти,
раз он не охотник и время азарта прошло.

Он знает, что всё ещё в первом участвует акте
и может покуда не верить в отпущенный срок:
ещё впереди монологи и кофе в антракте...
Увидев ружьё на стене, о свершившемся факте
полезно подумать, пока не спустили курок.

Собрав свои кисти, он выйдет из тёмного зала
(однажды разбужен, теперь распалается дом) —
уже различима черта, что с утра ускользала.
Подъём на подмостки грозит пустоте пьедестала.
Картины спектакля подходят своим чередом.

1985

Со времени ига всё в Азии кажется дичью
и тьмою, как будто иного понять не дано.
Восток есть Восток, мы читали об этом давно,
и верится слабо, что время стирает различья.

По мне, безразличие — грех. Исправляя огрехи,
усилю черты, чтоб сомнений не знал книгочей,
и в зеркале взгляды раскосых и жадных очей
заставят припомнить мелькавшие в юности вехи.

За давностью лет пресловутая древность Востока —
фигура в речах (мой недуг — азиатский синдром):
куда же ещё современной, когда космодром
стал символом этой земли и привычен настолько,

что нет ни восторга, ни страха? Ракеты и степи
по праву с моим, москвича, естеством не в ладах,
но — часть бытия, не отречься.
Потом, в городах,
в рассказах о них изберу превосходную степень.

1986

МЕЛОВОЙ КРУГ

Экое чудо чудес — меловая черта!
Круг обведёшь, а внутри всё равно — ни черта;
мысль о свободе приходит на ум поневоле,
мысль о неволе — тому, кто с другой стороны.
Только что мы замечательно были равны —
те, что снаружи, внезапно лишаются воли:
след от мелка в их глазах неприступней стены.

Мир окружающих женщин прекрасен теперь —
мир окружённых со мною. Захлопнута дверь —
калейдоскопом сменяются лица снаружи,
и неуютно им там прозябать на виду.
Те, что внутри, приступают зачем-то к труду,
мел достают, чтоб границы затягивать туже;
впрочем, любые — сотрутся, имейте в виду.

1986

Страница, в ночь зачатая в тетради,
есть скорбный лист, как говорили встарь, —
моих страстей подробный календарь.
Я безнадёжен, так чего же ради
нести грехи на площадь, под фонарь?

Прошедший век податлив, словно тесто
(ты обещала: встретимся. И где ж?),
в своей тетради перейду рубеж:
«вчера» и «я» сживутся так же тесно,
как женщина и дательный падеж.

Течение лет ещё пойдёт на благо;
паломничество в старые места
не завершает поисков креста.
Мои болезни вытерпит бумага —
пока тетрадь желанна и чиста.

1987

Воспоминанья прячу под сукном,
но иногда впускаю в окна ветер,
чтоб всё в уме перевернул вверх дном.
История творится за окном —
а что в моём творится кабинете?

Здесь громоздятся чёрные пласты,
горой растёт ненужная порода,
а отношения с временем — просты:
приходится и с прошлым быть на ты,
стараясь жить для сохраненья рода.

Пророка здесь, как мы решили, нет.
Здесь копятя, да не рождаются вести.
А что случится через много лет?
Сукно непрочно, в этом весь секрет;
могу сказать, в каком порвётся месте.

1987

Оживаю на короткий срок,
вырываюсь из объятий быта,
чтоб вдали с собой наедине
разложить по полкам алфавита
некогда припрятанное впрок —
то, что было в дни застоя скрыто
на втором, под слоем ила, дне.

Отпоют — и я для них пропал;
воспарю, не ощущая связи —
загрустит оставленный колосс.
Избегаю прошлого в рассказе,
но — в словах, но в памяти — провал...
Слушаю, как проступает в джазе
невозможный благовест колес.

1987

А мы боялись, что начнут без нас!
Напрасно вслух не называют час,
когда случится верное крушенье:
вопрос о роли застаёт врасплох,
и кто-то не способный на подлог
ещё не в силах прекратить круженье,
когда гонца пускают на порог.

Нетрудно всё свалить на суету,
но чтобы вдруг переступить черту
иным нужна площадка для разгона —
скорее что-то мы начнём без них;
нелепо ждать, найдёт ли снова стих
и слушать скучный перестук вагона,
беспомощно гадая: стих, не стих.

Когда-нибудь останемся одни.
Внезапность потрясения в наши дни
вполне способна привести к расколу:
Не всякий из постели — на крыльцо...
Когда вокруг сжимается кольцо,
не вспомнишь вмиг, чему учила школа.
Но неизбежно высветишь лицо.

1988

КАРАНДАШИ

Не так ведь — револьвер из кобуры,
не так ведь — лютый пёс из конуры...
Очистив карандаш от кожур, —
касаешься живого поневоле;
пусть без ножа не обойтись, зато
совсем не так выходят из пальто:
такого не придумал бы никто —
никто не думал, всё-таки, о боли.

Изобретатель был не лицемер,
да был ли он? Наверно, инженер
устроил бы, чтоб грифель, например,
сдвигался вдоль
сугубыми винтами.
Но чтоб — чинить?.. До мысли не дойти.
Такой предмет мог лишь произрасти,
чтоб позже быть у мудрецов в чести
или чертить признанья милой даме.

В неведомой какой-нибудь глуши,
где, кажется — ни звука, ни души,
в густом саду растут карандаши,
таящие в себе высоты слога,
и сборщицы на уголок полы
трясут отягощённые стволы.
Ждём урожая, голодны и злы,
и признаём существованье Бога.

1987, Дубулты

Ждём урожая, голодны и злы,
какими лишь и стоит быть поэтам.
Какими стоит быть — молчим об этом;
секрета нет, но в тёмные углы
сбиваемся с законом, как с секретом —
и каждый правду сам себе рожай,
старайся по старинке, нет секрета.
Иные обходились без совета,
а всё же собирали урожай —
и голодают, не смотря на это.

1987, Дубулты

В детских туманах, в просторах беспечной поры,
в новые страны вели проходные дворы;
мы сохраняем в уме их подробные карты,
прежних наивных побегов цветной черновик.
Время не стоит искать меж страницами книг;
что-то разносят по свету случайные барды —
вдруг отыграют промотанный мальчиком миг?

В скорых дворах пропадали обрывки пути,
время сжималось, наверно, один к десяти,
что удлиняло свидания в тайных просторах...
В новых районах бытуют свои словари:
«двор» не услышишь, когда за окном — пустыри;
слов облетевших по ним разлетается ворох,
в календарях остаются одни декабри.

Ряд языков мы напрасно учили вчера.
Наши портреты — в столичном музее двора;
как и без нас, в нём нельзя обойтись без гитары —
старые ноты висят украшением стен,
как негативы неведомых звёздных систем.
За горизонт забредают влюблённые пары —
старые карты для них не важны, вместе с тем.

1987

За горизонт забредают влюблённые пары —
надо же скрыться из глаз на поверхности шара
и оказаться на время вне узкого круга,
в коем заметны движения грешной души.
Дело не в том, что теперь сколько хочешь грехи —
в том, что обычно легко обвиняем друг друга,
и виноваты все вместе, и все хороши.

Нужно ль скрываться за неощутимой чертою?
Каждый да стоит чего-нибудь, счёты — пустое,
только влюблённым не писаны наши законы,
пусть пропадают в тени небывалых кулис:
скоро их выход. Лелеют надежду на приз —
долго ли тешиться? Считаны ваши поклоны.
Из матерей не выходит достойных актрис.

Роль разгадает заранее
грамотный зритель.
Слушайте сами себя, осязайте, смотрите:
могут вернуться и наши бывшие любви —
узок и тесен однажды придуманный круг.
Не существует надёжных преград и порук,
и горизонт, обозримый в стекло лобовое,
всех заключает и мирит, и милует вдруг.

1987, Дубулты

У зимнего моря слоняется пеший рыбак.
Облаянный чайкой, он друг беспризорных собак,
которых не терпит курортный ухоженный город.
Нелепа фигура с ненужной газетой в руке,
вагоны из детства на стрелках стучат вдалеке,
и в зал ожидания гонят тоска или холод,
но берег весь день сохраняет следы на песке.

Для наших прогулок близ моря довольно земли,
пускай отдохнут до весёлых времен корабли,
а для отступления близость железной дороги
важна и достаточна, правда, обратный билет
истрёпан в кармане, негоден за давностью лет,
и зимние чайки взлетают в понятной тревоге,
когда человек, возвращаясь, ступает в свой след.

1990

Придорожные знаки ведут к тридевятой земле,
тридцатое царство прославят, наверно, газеты —
но соврать не дадут, и увижу в возвратном стекле,
что часы не спешат, не всегда достоверны приметы
и отставшую сплетню сорока несёт на крыле.

Урождённый рассказчик, живу, в арифметике слаб —
верстовые столбы рассыпаются в сбившемся счёте.
В неизведанных землях работа пойдёт ли на лад
или, может быть, там позабуду совсем о работе,
ни молочной реке, ни кисельным подходам не рад?

Там меня с поцелуями ждёт не дожждётся толпа —
и уже возникает вопрос выживания в сказке.
Голубая мечта, как любовь молодая, слепа,
и напрасно стущают иные художники краски,
чтоб терялась в картине обратная, к дому, тропа.

1988

Увы, не редкость одинокий ум,
пускай недюжинный, пусть равный двум,
хоть — десяти, возвращённым в коллективе;
он прожил век, всё зная о судьбе,
включая цену прочим (о себе
не думая как о случайном диве) —
что б ни дудел архангел на трубе.

О нём ходил бы по округе звон,
но, языком нарочно обделён,
он лишь копил всё то, что клокотало,
как на плите — из пищи и питья: —
пророчества, законы бытия...
Не разглядев, не удивясь нимало,
с ним разминулся, может быть, и я.

Когда истёк его чрезмерный срок,
вломились люди в жалкий уголок,
окно и двери распахнули настезь,
но поздний их подарок был, язык,
уже не впрок. К молчанию привык,
теперь не всё успел сказать, отчасти ж
не знал, о чём, отстал от нас, старик.

1988

К шестому ангелу, имевшему трубу,
напрасно обращать последнюю мольбу:
ему — был голос (все мы знаем мощь приказа,
когда уже не скажешь дружески: остынь),
к тому же — поздно: кое-где на небе — синь,
но на земле черно, насколько хватит глаза.
Виной — упавшая с небес звезда полынь.

Виною — снятая нечаянно печать,
пусть только первая — достаточно начать,
достаточно уже задумать первый приступ,
достаточно... Смотри во глубь своих времён:
твой каждый прежний шаг отмечен, заклеимён
и, значит, будет жить в делах отныне, присно,
во веки... Нет, нам не узнать своих имён.

1988, Малеевка

Листья в необъятной кроне,
мы — одной с тобою крови,
порченной вливаньем рабства
(платье старого покроя
прочим — повод для злорадства);

невозможно — откровенно,
настежь отворивши вены,
вылить вон — и кануть в кашле.
Копим волю, чтоб наверно
яд выдавливать по капле —

невесёлая работа.
Счёт корням предъявит кто-то —
раб, мы с ним одной же крови,
только я — плачу по счёту,
только я стыда не скрою.

1988, Малеевка

Грозит усталость. Разум начеку —
пришла пора идти к часовщику,
чтобы определить себя в пространстве.
Ещё недавно был понятен круг,
теперь блуждаю меж понятий «друг»
и «дом» — не знал страннее странствий,
совсем не ждал, а вот столкнулся вдруг.

В письме пером — надёжность черноты,
но жизнь в пределах меловой черты
когда-нибудь потребует разрядки,
и бросишься по старым адресам,
не веря износившимся часам:
не может быть, чтоб мир был не в порядке —
скорее, ошибаешься ты сам.

Пусть часовщик удержит от затей:
жильцы сменились и не ждут гостей —
настолько, что уже не внемлют речи,
и, может быть, не нужно суеты —
стучаться в двери, покупать цветы.
Нелепо ждать, что та, кого я встречу,
уберегла давнишние черты.

1988

От тени завтрашнего дня
огонь не упасёт меня —
бенгальский ли, что с ёлки брызнет,
живой ли отблеск от печи, —
но станет застить все лучи
тень будущего — до предела жизни.

И только язычок свечи
увязан с кончиком пера.

Сотрётся — бывшее вчера,
а то, чему бы завтра длиться,
переполняет наши дни.
Забыты, образам сродни,
любимых будущие лица,
неразличимые в тени...

1988

Потоп, сказали, будет после нас.
Дороже пролетевших лет — сей час,
но времена, как правило, двулики:
пока на воле длится ясный день,
горят от жажды глотки деревень
и век, победоносный и великий,
тайком влачит трагическую тень.

Укрыты ею сговор и обман,
а юноша, классически румян,
не знает о происходящем ночью;
да, у любой любви две стороны,
и тянет дымом из родной страны,
и в темноте не предъявить воочью
отринутых предметов старины.

1989, Дубулты

У ПЕРЕВОЗА

Ну что там глобус с двойнею Америк?
Как перебраться с берега на берег
реки — на том сошёлся космос клином
при немоте доступных смертным карт.
Написан Вертер и изучен Кант,
но нет проводника по нашим глинам.
На берегу тоскует музыкант —

сочувствую его лихой гармонии.
Фальшивит, спьяну. В гене иль в гормоне,
однако, что-то есть такое, право,
родное с ним, что свято берегу.
А он рождён на дальнем берегу
и тоже не отыщет переправы.
Доверься карте, сам себе солгу —

стократ учён, чтоб попадаться снова:
имел поштучного и развесного
довольно
просвещённого обмана.
Ждать от чужих подмоги — не с руки,
и пропадает время близ реки;
платя его из своего кармана,
я поступаю картам вопреки.

1989

Ещё апрель, и в доме топят печь.
Начать с нуля? — игра не стоит свеч:
судьба зависит от случайной встречи,
а тут занесена болезней плеть...
Для рукописей близок час гореть —
пусть исчезают с ними части речи,
когда весна плетёт из веток сеть.

Настало время рукописи — жечь:
швырнёшь в огонь — и словно камень с плеч.
Не надо свеч — и тотчас гасят свечи,
чтоб в полумраке думать о себе.
Так много неизвестного в судьбе,
что не хочу расстаться с частью речи.
Судьба ещё играет на трубе —

мелодию непросто уберечь,
как уберечься от ненужных встреч,
от лишних слов, которых — пуд на плечи:
не воробей, удержана едва,
на вылете, ущербная глава...
Ещё апрель, повсюду топят печи.
И я пока держу свои слова.

1989, Дубулты

Безносая дева ещё холоста,
но возраст себя пожирает с хвоста,
и мир подаёт различимые знаки,
которые мне расшифровывать лень.
И если начнётся ещё один день,
то будут и пища, и свечи во мраке,
и мало ль какая в быту дребедень.

Унылая дева ещё холодна
и бродит по белому свету — одна,
но годы ползут, как библейские змеи,
бесхвостые, здесь, у дверей, по крыльцу,
и можно уже угадать по лицу
безносой, что я докопаться посмею
до тайны — как веку пробраться к концу.

1989, Дубулты

Ни раб, ни червь не превзойдут вершин.
Мы — не рабы, но что мы совершим
такого, что б превознесли потомки?
Летят года, и быть собой пора б,
коль дан гудок и даже убран трап,
и механизм езды готов к поломке,
но червь грызёт: а вдруг я тоже раб?

Никто не червь. Но неизвестный вид
учёными, быть может, не открыт,
а был бы — и мои б сошлись приметы?
И точит червь, и ход в потёмках стар,
спасает дело лишь сомненья дар,
да вот ковчег отходит к краю света;
в нём червь с рабом — одна из нужных пар.

1992

Осенней речке угрожает лёд,
скребёт по снегопаду самолёт,
а я ещё к знакомому пейзажу
не то чтоб равнодушен, а никак
не отношусь, в уюте тайника
блаженствуя, за стол усевшись зажи-
во — мастерить, пока тверда рука.

Не всем понятен ужас слова «вдруг».
Спокоен даже мой вчерашний друг.
Но я — спешу скорей закончить книгу
и, дай-то Бог, ещё одну начать:
мне был звонок. Которая печать
нарушена? Своих коней квадригу
(и блед, и вороной...) хлещу сплеча.

Случайным встречным непонятен бред:
спокоен лес, и в нем обходчик — блед.
Мне снег не сладок, раз другие страны
своей земли я видел лишь во сне,
а мой тайник растает по весне —
и труд не впрок тогда, и будет странно
вздыхать по запредельной стороне.

1993, Переделкино

Странный феномен — присутствие женщины в доме,
в спальне без мебели, без обитателей, кроме
выданных зеркалом, не упомянутых в томе,
где собеседников можно найти имена.
Можно, к тому ж, говорить о присутствии духа —
полный набор междометий рассыплется сухо.
И на пророка бывает, как видно, проруха,
если близки непростые для нас времена.

Странный феномен — лишение женщиной воли;
жалок наш ум, не играющий более роли
при попадании в женское жёсткое поле
прежде, чем свидимся даже: бежим на ловца
запертым домом, по гулким ночным анфиладам.
Кто-то присутствие выдал нечаянным взглядом.
Странное дело — Вселенную чувствовать рядом,
если смущён пустяком — отраженьем лица.

1989

ИЗ КНИГИ «НИТЬ БЫТИЯ»

30 стихотворений

Пробежал музыкант, погоняя скотину смычком,
остальные стояли на всем протяжении дороги,
мне навстречу лицом и расставив по-ухарски ноги.
Я тут был новичком, я себя ощущал — старичком.

Мне хотелось, чтоб всё это стало — кино на стекле,
я б тогда объяснил то, что было тревожно и странно;
я привык слыть своим, попадая в прекрасные страны,
неуместные сны настигают — в родимой земле.

Толкования снов принимали всерьёз в старину,
а потом интерес был ослаблен учением Фрейда.
В спящей сути своей совершаем глубокие рейды,
но, проснувшись, решаем, что просто играли в войну.

1982

Без лошади белой едва ли парад состоится
по случаю лета. Какая же, право, столица —
без лошади белой? На площади встреченный, всадник
с забытой осанкой — конечно, счастливый гонец,
из цирка, быть может, а то и вельможный наглец,
а то и глашатай, без мыслей преступных и задних
читающий сказки с намеком на добрый конец.

Без лошади белой, разбуженной утренним светом
на тёплой лужайке (всё лучшее связано с летом),
не вспомнит свой край космонавт, затерявшийся в мире,
свой город безумный, видение на берегу,
без лошади белой, стоящей на белом снегу
(с зимою — всё лучшее... впрочем, сезонов — четыре).
И выделив город из прочих земных, я солгу:

мне только случайно судьба указала столицу,
где скрыта пружина, где скоро парад состоится
и стрелки часов направляют движение на площадь,
а каждый прохожий несёт на запястье часы —
грохочут колёсики, тьма, выводя из дурной полосы
туда, где осталась забытая белая лошадь
на мягкой лужайке, не знавшей доселе косы.

1989

Нить бытия закручена в спираль,
и много раз встречается февраль,
но только без падения престола.
И много раз уходит вниз зима,
неотвратно тают терема,
и можно ждать пусть самого простого,
но всё же — потрясения ума.

Нить бытия протянута во тьме
(но только тот, кто не в своём уме,
помыслить может о включенье тока),
а кровь — тепла, и отдаёт в виски,
когда возок на скользкие витки
влетает. Так придумано жестоко,
что ненадёжны быстрые возки:

скользят полозья поперек зимы —
то, что, быть может, потрясёт умы,
для многих так и остается тайной.
Печальные читаем жития.
Устану к марту, видимо, и я —
беда зимою может быть случайной,
но не случайна форма бытия.

1988

Свеча — на праздничном столе,
в воспоминании о детстве,
в воображенье — в пору бедствий
единственный зрачок во мгле,
заплаканная — у иконы,
запретный свет во время оно,
нас высветивший на земле.

Нечастый гость — живой огонь.
Кто в наши дни поймёт отвагу
свечою освещать бумагу,
а боле — поднести ладонь?
Строка зажжётся в тёмных далях —
не превзойдён уменьем Палех
(на чёрном — храм, жар-птица, конь).

А та (мело, мело) свеча
Непостижимее метели!
Спасём друг друга:
в самом деле,
что за болезнь — рубить сплеча?
Быть может, лишь при зыбком свете,
свечу затеплив в кабинете
для верных поисков ключа...

1988

В конце, давно наставшем, света
подобия зимы и лета
с подобьями хулы и славы
неплохо спелись под шумок;
ничто сегодня не порок
в садах болеющей державы.
Пророком назван буйства срок —

его ошибка сердце саднит:
им не предсказан первый всадник
(об остальных пока нет речи —
затопчут конные толпу).
Гляжу на ложную тропу,
что, барским картам не переча,
ложилась подлю под стопу,

но сохраняла в тайне свойство
нести кавалеристов войско —
и странен мир в обратном взгляде,
даёшься диву наконец:
на зверя каждого ловец
нашёлся, двор стеснён в ограде
и безутешен Бог-отец.

1989

Намечен белым день поминовенья.
Выходит время из повиновенья,
из зимнего хранилища — на волю,
холодные снимаются посты,
желания по-прежнему просты —
я, например, хочу любви, не боле.
Но память ставит белые кресты.

Необходим весенний день печали,
как остановка долгая в начале
благого дела, чтоб собраться с духом
и разобраться с письмами извне.
Признаться, чаще я пишу, чем — мне;
не о любви. Но вскорости, по слухам,
ворвётся время, в белом, на коне.

1990

От милой компании невыносимой
не скроешь, поди, ни тельняшки осиной,
ни ягоды в щедрой листве.
Иудино дерево с нашей осиной,
известно, совсем не в родстве,

но строят садовники
серые козни,
мотая какие-то общие корни,
сзывают чужих в хоровод —
и чем непонятней призыв, тем покорней
глядим проповеднику в рот.

Пусть в этом не видно особого чуда,
раз ветер носил семена отовсюду
и лес расшумелся не вдруг,
но всякий, в компании явный, иуда
находит какой-нибудь сук.

1989

Не созрев для заботы о славе мирской,
наша юность пресытилась горькой Москвой,
наша зрелость, прошедшая нищей страной,
донесла до черты эту горечь во рту,
преумножив надежды в годах и тщету
и гордясь лишь сугубой седой стариною,
отодвинутой волей слепых в темноту.

Наша юность смягчалась любовной тоской
в ежедневных прогулках по горькой Тверской,
и размолвкам внимали пустые бульвары.
Запрещённый, не мог нам подыгрывать джаз
в комендантский, ещё не оборванный час,
и невсхожие семечки Божьего дара
вместе с юной порой пропадали для нас.

Двустороннею выбита наша медаль:
глазу — яблони цвет, обонянию — миндаль.
Слишком поздно осознаны наши потери,
чтоб других напоследок не сделать потерь.
Наша горечь пронзительней стала теперь
от созревшей тоски по утраченной вере.
А вернуться обратно — захлопнута дверь.

1989

УТОНУВШАЯ ПАМЯТЬ

Память меня приглашает в кино;
в кадре — бассейн, где не чищено дно.
Видно, что не умирает Тарковский.
Что-то случилось в начавшемся дне:
память разбухла на кафельном дне.
Ждут санитары, но я не таковский,
вовсе не нужно сочувствия — мне.

Прав звездочёт: где черно — там дыра;
не отделит больше зла от добра
бедная память, отбитая хлоркой.
Многие книги ещё под замком,
образ Офелии плохо знаком;
мы теперь дело имеем с галёркой —
той, для которой не писан закон.

1992

Печальны тромбоны, не взявшие нужного тона,
грустны тромбонисты, в руках — канцелярские скрепки,
безудержны стёкла пустого от старости дома,
чей скромный чертёж — на странице забытого тома,
и всё это — повод к распитию горьких и крепких.

Но что-то живёт в оставляемых нами жилищах:
в иных — не нашедший достойного выхода ветер
и крест на полу, нарисованный полной луницей,
в других же — случайно опавшие в комнатах нищих
тяжёлые мысли о том, что творится на свете,

и ситцевый шелест, и время, прошедшее мимо,
былое присутствие (к слову, имеющий уши
легко постигает безумный подтекст пантомимы)
любимых. Постройки снесут, и, живущее мнимо,
пройдёт — то, к чему по привычке лежат наши души.

1990

Изобразить Святого Духа
не может тот, чье сердце сухо,
а, значит, и никто из нас.
И вот тирада непечатна,
судьба, поэтому, печальна,
судьба поэта... Вещий глас
дан бессловесному, случайно.

Невероятно — день пасхальный
связать с иконою наскальной,
а время наше странно мне.
Моя беда — случайность дара,
ведь ум имеет форму шара,
чьей затененной стороне
ясна не Троица, а — пара.

1992

Окончание времён ожидается всегда,
никуда не утекает пресловутая вода,
вечно скачет по асфальту стражник Страшного Суда,
и судебный исполнитель мило шутит с понятиями.
Понемногу иссякает самый страшный в мире век,
фейерверк всё чаще пляшет на изнанке сжатых век,
и условность всякой даты, всяких знаков или вех
заставляет усомниться, жив ли ты, а жив — но ты ли?

Может статься, первый ангел не замечен. Ни ловца
не нашлось, ни ушлой бабки на скамейке у крыльца,
часовая тень от стрелки провозвестником конца
не послужит, а тем паче — провокатором побега.
Нынче спорить бесполезно — время кончилось вчера,
понемногу пропадают дорогие вечера,
только мой последний росчерк не срывается с пера,
а упущенные годы выпадают в виде снега.

1992

ПЕРЕДЕЛКИНО

1

Река осталась подо льдом.
По осени ещё с трудом,
застеклена, читалась карта
подводных путаных путей,
по коим рыбы без затей
текли в дома — дожждаться марта.
Но вот — зима, теперь вестей

не пропускает снежный слой.
Там календарь, конечно, свой —
в немых глубинах антимира,
и хоть потоп или пальба,
или на Страшный Суд труба,
а время протекает мимо
и предсказуема судьба.

Сдувает пудру с парика,
осталась подо льдом река,
но неспроста затянут пояс
ещё ненужного моста;
донос читается с листа,
и тёплых дней напрасен поиск.
Вокруг — знакомые места.

1990

2. День юбилея революции

День выдался ясным, а это сегодня нехстати.
Впервые я сел за стихи к знаменательной дате
и сразу — к такой, что не скажешь при детях. Издатель
партийных томов завертелся, наверно, в гробу.
Сегодня не жалко на праздничный опус бумаги,
не нужно быть верным чудовищной старой присяге,
впервые никто не пронёс ненавистные флаги,
как крест на Голгофу, на тощем беднячком горбу.

По площади главной не движется шествие нищих —
сидят по домам, кто с работой, кто — с чёрным винищем,
а я в одиночестве утро провёл на кладбище
на склоне святого холма, где лежит Пастернак.
И всё отступает, и чернь исчезает из виду,
ведь горькое горе всегда перевесит обиду,
расходятся толпы — по жертвам служить панихиды,
и так растворяется дата, и зрячему видится знак.

7 ноября 1992

3

Как Битов писал, я живу у могилы поэта
(живу — подчеркнул), и конечно же, это — примета,
которой стесняюсь — без доброго, впрочем, совета
гуманных соседей, чьи окна глядят на погост.
И всё-таки совесть чиста: это так ненадолго!
Я здесь заточен по велению сладкого долга;
оставлю в столе восьмистишия странного толка
как скромную сумму, читателю данную в рост.

Я, всё же, живу. Дорожают в округе минуты —
нельзя накопить и нельзя завещать их кому-то;
от денег бумажных карманы у нищих раздуты —
на них не купить ни бумаги, ни, к слову, пера.
Сегодня и женщины знают, как падают курсы,
и редкостью стали отменные, тонкие вкусы,
но тот, кто живет, искушен. Старомодность искусства
ему очевидна: такая настала пора.

1993

4

За окном постепенно тускнеют цвета Хохломы.
Старомодный покой постепенно смущает умы...
Дом, в котором обычно встречаю начало зимы,
расположен вблизи потаённых палат Алексия,
это — место, куда должен циркуль поставить иглу,
но об этом не думаешь, если прикован к столу:
всё равно, где затворником быть — и в медвежьем углу,
и в серёдке креста, что начерчен на карте России.

Неширокая речка течет с непонятным трудом,
наша мирная речь всё никак не покроется льдом,
оттого что давно все дороги ведут в этот дом,
оттого что давно никуда не приводят дороги.
То и дело я слышу — стучат вдалеке поезда,
я изъездил страну, а в другую — запретна езда
мне была до сих пор, отчего путевая звезда
обращалась всегда теневой стороной недотроги.

Я рисую другую привычным усилием ума;
подождать, потерпеть — и пойдёт рисоваться сама,
в ней и то хорошо, что туда не доходит зима
и не надо, натужась, влезать для прогулки в овчину.
Деревенская церковь бедна для отвода беды,
я к обедне хожу, оставляя нарочно следы,
но соседи, умом смущены под влияньем среды,
не замечены в храме: имеют на это причину.

1995

Безвестную жизнь в историческом граде
к бумаге прижать изнутри нехитро,
моя — подвернулась под злое перо;
но то, что осталось снаружи тетради,
я должен предвидеть, храни меня Бог —
вдруг к окнам подступит, взойдет на порог, —
а я не хочу соучаствовать в стаде.

Я дома останусь, в квадрате, в ограде,
и двор — пусть скользит за миры, за моря:
меня не учили бросать якоря
в те годы, где мысли теснились в осаде.
Найдутся историки, хватит ума —
об участии русских напишут тома:
забытое мной соберут Христа ради.

1993

Чёрный ангел и ангел белый,
верный ангел и ангел беглый
ищут облака, шороха, тени:
как в завязке ночного кошмара,
не узнаешь, где — двое, где — пара,
и кому отдавать предпочтенье:
одинаковы степени дара.

Белый — с неба упал, зацелован;
клоун чёрный и белый клоун
возвращаются в повесть Феллини.
Чёрный цвет не созвучен таланту,
это цвет похоронного банта.
Дар зарыт, и резвятся в малине
землекопы, друзья, секунданты.

1992

Тревожно годы коротаю,
затем, что дымом мир пропах.
Страна стоит на трёх китайях,
а те — на белых черепах,
и наши скипетр и держава
зажаты в лапах черепах.
Так, торопясь, проходит слава.

Её и нет, по приговору,
и об устоях речи нет;
секрет раскроется в ту пору,
когда судьи простынет след.
А люд — приговорён к потёмкам
не за грехи прошедших лет,
но чтобы дать пример потомкам.

1993

Безрукий цирюльник, лелеющий бритву,
любовник, с тоской призывающий битву,
Набоков, читающий на ночь лолитву,
и снайпер, и сталкер — не встретятся здесь,
и мы, старожилы, уже понемногу
приходим к согласию, с именем Бога,
и так — привыкаем глядеть на дорогу,
теряя излишнюю путнику спесь.

Язык упражняется в слове «навек»,
чужие идут за окном человеки,
и только крушение библиотеки
осталось в цепи неразъятым звеном.
Нас много, мы все разлетимся по свету
с неправдой в суммах, с отвращеньем к совету,
послушны любому попутному ветру,
ничуть не утешены горьким вином.

1992

Лети себе. На вольный монгольфьер
завистники взирают однобоко,
к тому ж, всегда находится набоков,
неудержимый коллекционер
и только позже — обитатель сфер.

Спи в тишине под сладкий гул огня,
отныне в сновидениях нет толку.
Всяк мотылёк нанизан на иголку —
рождественский подарок для меня.
Но шару шар в коробке — не родня:

они цвели на разной высоте,
что характерно — выше колокольни.
Лишь тот пилот, что выбрал путь окольный,
проснется утром в собственной постели,
не припомнив, что там, на кресте.

1992

Не разорюсь на похвалы Востоку —
да что такое мне теперь Восток?
Он с места не сойдёт, он так далёк,
что без него совсем не одиноко.
И Запад недостоин похвалы.
На скачках ставлю на Илью-пророка,
и в громе жду не славы, не хулы,
не откровенья, а обычной вести
о том, что мной крест-накрест пройден путь —
на Запад ли?
Но это как взглянуть:
я нахожусь в таком удобном месте,
что все концы доступны и равны;
одна забота — сохраненье чести
при неизбежном выборе страны.

1994

Из-под руки разглядываю дали:
летят, как перелётные снега,
голубенькие девочки Дега —
их так давно и безнадежно ждали!
Но слишком, всё же, угнетает глаз
сиянье перевёрнутой медали
и дразнит слух давно ушедший джаз.

Когда сойдутся старые мотивы,
сведут воспоминания с ума.
Февраль — как настоящая зима:
не тает снег, а это нынче — диво.
Не верю взгляду из-под козырька,
я ослеплён, а память дарит льстиво
картинки из потерянных зеркал.

Блаженство — растравлять былые раны;
под шрамами — младенческая плоть,
пристрастия забывшиеся, в плоть
до мельчайших, оживают странно,
и странно откровения легки.
Но что за стёкла стали ставить в рамы!
В чужую даль смотрю из-под руки.

1994

Поспорим, вкус есть функция ума,
хотя как раз о вкусах спорить глупо.
Пусть всё определяют крови группа
и то, как щедро тратятся сурьма
или румяна; пагубны советы,
и мерок нет, и только синема
рисует образцовые портреты.

И всякий неожиданный порок
оправдан если не умом, то вкусом;
не гению противиться искусам,
но мудреца — не пустят на порог,
а новичков встречают по одежке,
они — ясны. Как предсказал пророк,
жизнь прибывает в час по чайной ложке.

1993

Дворовый джаз играет безобразно,
чаруя женским голосом трубы.
Танцующие встали на дыбы,
поддавшись позабытому соблазну —
он не пропал, а столько лет прошло;
всё те же дева, дискобол, весло
и те же — мы; нас меньше стало, разных

и неплохих. А наши музыканты
разъехались без спросу кто куда.
Нас всех зовут чужие города,
где мир светлей описанного Данте, —
во всяком там играет старый джаз.
А в нашем — предостерегая нас,
навязывают свой мотив куранты.

1993

Дирижёр поздравляет оркестр городской
(оркестранты глядят с неизбывной тоской):
нынче — праздничный день послушанья;
скрипачи подчиняются взмаху руки —
все покорны, и женщины, и старики,
музыканты с большими ушами
неспособны и звука сказать вопреки.

Дирижёр исцеляется от немоты,
городскому оркестру потребны шуты,
а в симфониях места нет шутке.
Добрый юмор отпет и поспешно зарыт,
нынче — праздник, и клоуны плачут навзрыд,
и смешно мастерство проститутки
в серый вечер, когда дирижёр — говорит.

1993

Кому-то дождь напомнит о тамтаме.
Неотвратимо шествие с зонтами.
Спасаться огородами, задами? —
но это город и двадцатый век.
Вчера мещане становились в позу,
устав от фильмов, презирали прозу
и не настолько верили прогнозу,
чтоб ждать ненастья, не смежая век.

А ночь едва достала до рассвета,
я даже думал, что взошла комета —
нужна же хоть какая-то примета
готовящейся встречи во дворе!
Набравши в рот, молчали старожилы,
старухи молодых не сторожили,
ум остывал, и только были живы
воспоминанья о былой поре

(как мы играли, каждый — в первой роли,
как жили мы, подумать лишь, на воле,
как дней в году пятьсот, а то и боле
подряд мы обходились без дождей).
Зонты черны, как на враге — медали;
никто не помнит, как они взлетали,
вращаясь, в небо — в брызгах и в металле —
и рассекали кромками людей.

1993

Унесут на груди пулемётные ленты матросы,
молчаливый фотограф задаст ненароком вопросы —
только я и могу поддержать непростой разговор,
приложив своё ухо к смертельно больной амбразуре.
Всех Матросовых эхо последний аккорд образуют,
молчаливый фотограф снимает их подвиг на спор
на плацдарме у Зимнего, в белой закрученной буре.

Из метели сгущаются дамы в мехах и с мехами,
наблюдая, как крутит безмолвную фильму механик,
и отдельные кадры пытаются спрятать в альбом,
чтоб потом дорогие картинки листать на диване,
вспоминая дурное, что было не с ними, а с вами,
не пробившими стену простым человеческим лбом,
в невесёлой комедии, не получившей названья.

1993

Хотелось, аки по суху, — по хляби...
Ещё стеснялись говорить о хлебе...
Ещё шутили в спину всякой бабе...
А время шло. Джон Буль, сидевший в пабе,
вital в своем викторианском небе,

пока мы разоряли и трактиры,
и очаги, и памятные списки,
в заморских фильмах зачерняли титры,
в своих — решались только на пунктиры,
а в сферах волн — на шорохи и писки.

Актёры восклицали в балагане,
а денег было — лишь на яркий задник.
Скрипач стучал на звонком барабане,
каталась примадонна в шарабане
и ей дарил букеты чёрный всадник.

1995

Когда тревожит злоба дня
и я обороняюсь для
того, чтобы не множить горя,
день не уходит стороной,
не потрясает стариной,
и нужно в каждом разговоре
предвидеть оборот дурной.

Когда ж я равен сам себе,
уже никто в моей судьбе
не в силах переставить вехи,
и достигает высших сфер
мой голос, словно монгольфьер;
от страха я смыкаю веки —
но милосерден изувер.

Так много алчущих войны,
что остальные не вольны
пренебрегать дневной погодой
и носят дивные зонты,
плащи зловещей красоты,
не успевают вскачь за модой —
и день изводит их черты.

1995

ИЗ НЕМЕЦКОЙ ТЕТРАДИ

Шар Монгольфье наполнен сладким дымом,
и мне, чтобы остаться невредимым,
достаточно поддерживать огонь —
не в очаге. Глава программы школьной
напомнит, что неверен путь окольный
ни в играх и ни в суете погонь:
чреват неожиданной встречей с колокольней.

Сегодняшнее время — лишь отсрочка;
как выглядит над нами оболочка,
судить возможно лишь со стороны,
но нет возврата, и горелка пышет,
и видно с высоты, и слышно свыше,
что жители покинутой страны
рассыпаны по раскалённой крыше.

1998, Берлин

Смена сезонов всегда застигает врасплох:
и календарь, нам присущий, как будто неплох,
и соблюдаешь посты, и внимаешь советам,
только однажды, взглянув спозаранку в окно,
вдруг понимаешь, что больше не встретишься с летом:
что-то случилось с листвою и с утренним светом,
и с настроением трезвой толпы заодно.

Что-то случится с тоской по китайской стене,
если поймёшь, что проснулся в чужой стороне,
где, как ни странно, свои представленья о воле.
Лето прошло, и сгущаются воды реки,
люди понимают, что сгинет без средства от боли;
каждый рискует проснуться в несвойственной роли —
жаль, что не каждый поступит судьбе вопреки.

2004, Кластер Банц

НЬЮ-ЙОРК, ОСЕНЬ 2001 ГОДА

Здесь плохо спится — то ли из-за скуки,
то ль оттого, что полная луна
на землю шлёт несвойственные звуки;
но то чужое, чем она полна,
не стоит, право, и минуты сна.

Сочится через спущенные шторы
собачий вой, несущийся с луны.
Чтоб исключить возможность разговора,
собакам, всё ж, недостаёт слюны —
и это попадает в чьи-то сны.

А вой сирен над сонным царством Квинса —
невнятен, и тревожит зыбкий вид:
здесь, в сущности, пустыня, но без сфинкса.
И спящий люд затеять норовит
повторную постройку пирамид.

2005, Берлин

Небо внутреннего мира затянуло облаками,
в небе внутреннего мира не вздыхает монгольфьер,
оттого и безработен пришлый лётчик Мураками,
что насыщенные дороги не видны из неких сфер.

Что с того, что я жалею остающихся снаружи —
им не выдержать осады, восвоеси не уйти;
пусть завидуют тихонько или радуются вчуже,
или пусть меня жалеют: пропадает взаперти.

Но совсем не одиноко ни в какой слоновой башне,
даже если понимаешь, наблюдая из бойниц,
что уйти оттуда можно только в день позавчерашний
через душные палаты переполненных больниц.

2005, Берлин

Пусть ты живёшь на женской половине,
а мне довлеет и мужская треть:
вопрос не в том, иметь или не иметь —
быть или не быть! Лежащий в домовине
таит ответ от нас одних, заметь.

Люд поделён на чистых и нечистых,
на вас и нас, на наших и своих,
на женщин и таких, что проще них.
Одна танцует в кольцах и монистах,
другой — в холодном трюме ищет стих.

Устройство мира всяк опишет в гневных
подмётных письмах, только проку — чуть:
ковчегу от скалы не отвернуть,
читатель почты — тот же бывший евнух,
и мы ещё всё те ж, и в этом суть.

2005, Берлин

НА ДИРИЖАБЛЕ

Неспешно двигаясь в пространстве,
обозреваю нижний мир,
не узнавая: карта странствий
былых зачитана до дыр,

и мне ступить на те же грабли
уже нетрудно в поздний час;
затем лечу на дирижабле,
вновь географии учась.

Внизу теперь чужие страны,
у каждой — свой набор стихий,
и мне оттуда слышать странно
косноязычные стихи.

Мой аппарат топорчит жабры:
мол, новым веяньям не верь.
Легко дышать на дирижабле:
он легче воздуха теперь.

2005, Берлин

Мы нарочно оставляем нерастраченными сны —
пусть другие получают контрабандой прорицанья.
От плохого освещения ночи кажутся тесны —
как туннели, безнадежны и слоисты, как лазанья;

в них, как прежде, всё возможно, но излишни зеркала,
разговоры о погоде и старушечьи вязанья.
Сон случиться не успеет, как звонят колокола —
и стекло не отражает скороспелого лобзанья.

2006, Берлин

СОДЕРЖАНИЕ

Из стихов 1963—1977

| | |
|--|----|
| «Как необычно зренье поутру...»..... | 6 |
| «В полночь над погасшими огнями кафе...» | 7 |
| «Мерно качается маятник...»..... | 8 |
| «Над вокзалом — паровозные басы...»..... | 9 |
| «В странных одеждах...» | 11 |
| На смерть Ахматовой | 12 |
| «Босые девчонки с соседней фабрики...» | 13 |
| Картины Чюрлёниса..... | 14 |
| «Истина» | 14 |
| «Весна» | 15 |
| «Дружба» | 15 |
| «Сказка» | 16 |
| «Стрелец» | 17 |
| «Похороны»..... | 18 |
| «Всё — позже будет. Всё случится...» | 19 |
| «Моей любви мешает разум...» | 20 |
| «Испытания трудной судьбы...» | 21 |
| «Единственный взгляд — и узнал...»..... | 22 |
| Зеркала | 23 |
| 1. «Несовершенно хрупкое стекло...»..... | 23 |
| 2. «Вместе с людьми умирают их отражения...» | 23 |
| 3. «Ход времени — престранное течение...» | 24 |

| | |
|---|----|
| «Живые стены обсерваторий...»..... | 25 |
| «Ноль не значок...» | 26 |
| «Настало время белого коня...»..... | 27 |
| «Крещенские морозы на дворе...» | 28 |
| «В беде не оторваться от земли...» | 29 |
| «Мы видим только части облаков...»..... | 30 |
| «Нелепо быть похожим на Христа...»..... | 31 |
| «Но почему же слава — без суда?..» | 31 |
| «Часы и варианты сочтены...» | 32 |
| «Затянулась игра, но не станешь же срок...» | 33 |
| «Смешно бояться акробатов...»..... | 34 |
| Противостояние Марса | 35 |
| «Взгляните на ладонь свою, взгляните...»..... | 36 |
| «Был грех, связался с чудаками...» | 36 |
| «Я в эту зиму не поехал в горы...» | 37 |
| «Вот — следствие влияния весны...» | 38 |
| «Святые Марина и Анна!..» | 39 |
| «Когда конец работы близко...» | 40 |
| «Над городом плыли сигналы отбоя...»..... | 41 |
| «За роспись храма не проси наград...»..... | 42 |
| «На севере и вольность сходит с рук...» | 43 |
| Закрытые города | 44 |
| «Башмаки растеряв на гаданье...»..... | 45 |
| «Безумие — защита от тепла...» | 47 |
| «Удобный образ мира — три угла...»..... | 49 |
| «Что за проводы? Раз — навсегда...» | 50 |
| «Мимо окон, оступаясь в снег...»..... | 51 |
| «Мороз давно рисует по стеклу...»..... | 52 |

Из книги «Пути деревьев»

| | |
|---|----|
| «Я могу написать проливные стихи...» | 54 |
| Форма воды..... | 55 |
| «Я — житель города...» | 56 |
| «Деревянные игрушки...» | 56 |
| В тайге живёт смешной народец...» | 58 |
| Царевна-лягушка | 59 |
| «Дерево с рыжей девчоночьею чёлкой...» | 60 |
| «Это вовсе не кровь на снегу...» | 61 |
| «Я круг расколдовал...» | 62 |
| «Есть музеи различных культур...»..... | 63 |
| Снежная скорость..... | 64 |
| Альпинист | 65 |
| «Посадочные знаки на земле...» | 66 |
| «Речушка на краю земли...»..... | 67 |
| «Облетала листва от сигнальной пальбы...» | 68 |
| «Едва произошла посадка...» | 69 |
| «У полёта странная душа...» | 70 |
| «Кто не летал, не знает, что за благо...» | 71 |
| «Пусть комики смеются над собой...» | 72 |
| Заполярье. Начало сентября | 73 |
| 1. «Попад впервое за Полярный круг...» | 73 |
| 2. «Попадаю в тёплое течение...»..... | 74 |
| «Лишь я сказал, что не хочу...» | 75 |
| «В изгибах рельсов, как в волне реки...» | 76 |
| «В вагонах проводницы греют чай...» | 77 |
| «Едут машины и время мотают на оси...» | 78 |

| | |
|---|----|
| «Город прилёт отдохнуть, подремать после бега...» | 79 |
| «Случилось так, что на колхозном рынке...» | 80 |
| Последние лошади..... | 81 |
| «Быть зрителем картины, в общем, грустной...» | 84 |
| «Выигрывают мальчишки-калеки...»..... | 85 |
| «Человек с открытым сердцем...»..... | 86 |
| «Вылечит — тот, кто умеет выстукивать грудь...» | 87 |
| «Ребёнок слушал сказку о дожде...» | 88 |
| Мысли зимой, ночью, на космодроме | 89 |

Из книги «Черта»

| | |
|--|-----|
| «Трудно заметить, как время сжигает мосты...»..... | 92 |
| «Чудак, занимающийся не своею душой, а моею...» | 93 |
| «Как все, я назначаю веку цену...» | 94 |
| «А мы ведь знаем: что-то ускользает...»..... | 95 |
| «Эта жизнь — на ладони, как бы налегке...»..... | 96 |
| «Мне странно жить в осеннем городке...» | 97 |
| «А всё ж, сомнений нет, была волшебной флейта...» | 98 |
| «Учителю снится неверность ночных катакомб...» | 99 |
| «Наш разговор, быть может, даст плоды...»..... | 100 |
| «Забытые цветы скучнеют на столе...»..... | 101 |
| «Игрушка Люмберов явила особенный кадр...»..... | 102 |
| «И вот что некстати: промчалась комета Галлея...» | 103 |
| Покушение..... | 105 |
| «В нашем не очень-то строгом порядке порою...» | 106 |

| | |
|---|-----|
| «Всё, чем богат, раздавай по капризу любому...» | 107 |
| «Давно забыта суматошность лета...» | 108 |
| «В старинных гравюрах не частый сюжет...»..... | 109 |
| «Орган воскресной соблазняет мессой...» | 111 |
| «В светлой раме окна — полюбуемся видом...»..... | 112 |
| Кафе «Арабика» | 113 |
| «Так и не встретимся, будешь стоять на пороге...» | 115 |
| «Напрасно томил режиссёр понятых в карантине...» | 116 |
| «Стремленье к соразмерности — ошибка?...» | 117 |
| «У мёртвого, в смысле старинном, сезона...»..... | 118 |
| «Всё ж меньше тянет в новые места...»..... | 119 |
| «Вид из окна не даёт живописцу покоя...» | 120 |
| «Вернуться на берег, где дети пускают небесные змеи...»..... | 121 |

Из стихов 1979—1992

| | |
|--|-----|
| «Жить легко без устоев и веры...» | 124 |
| Вдохновение | 125 |
| «Кому же спится белой ночью?...» | 126 |
| «Как и звуки, обманчив огонь на воде...» | 127 |
| «Так виделась вечерняя толпа...» | 128 |
| «Есть повести печальнее на свете...»..... | 129 |
| Казанский вокзал 81-го года | 130 |
| «Когда поспеют силы злые...»..... | 131 |

| | |
|---|-----|
| «Завидуя, глядим в прошедший век...» | 132 |
| Новоселье | 132 |
| Сон о музах | 133 |
| «С подмостков под вечер на землю спускается мастер...» | 134 |
| «Со времени ига всё в Азии кажется дичью...» | 135 |
| Меловой круг | 136 |
| «Страница, в ночь зачатая в тетради...»..... | 137 |
| «Воспоминанья прячу под сукном...»..... | 138 |
| «Оживаю на короткий срок...» | 139 |
| «А мы боялись, что начнут без нас!...» | 140 |
| Карандаши | 141 |
| «Ждём урожая, голодны и злы...» | 142 |
| «В детских туманах, в просторах беспечной поры...» | 143 |
| «За горизонт забредают влюблённые пары...» | 144 |
| «У зимнего моря слоняется пеший рыбак...» | 145 |
| «Придорожные знаки ведут к тридевятой земле...» | 146 |
| «Увы, не редкость одинокий ум...»..... | 147 |
| «К шестому ангелу, имевшему трубу...» | 148 |
| «Листья в необъятной кроне...» | 149 |
| «Грозит усталость. Разум начеку...» | 150 |
| «От тени завтрашнего дня...» | 151 |
| «Потоп, сказали, будет после нас...»..... | 152 |
| У перевоза | 153 |
| «Ещё апрель, и в доме топят печь...»..... | 154 |
| «Безногая дева ещё холоста...» | 155 |

| | |
|---|-----|
| «Ни раб, ни червь не превзойдут вершин...» | 156 |
| «Осенней речке угрожает лёд...» | 157 |
| «Странный феномен — присутствие женщины в доме...» | 158 |

Из книги «Нить бытия» (30 стихотворений)

| | |
|---|-----|
| «Пробежал музыкант, погоня скотину смычком...» | 160 |
| «Без лошади белой едва ли парад состоится...» | 161 |
| «Нить бытия закручена в спираль...» | 162 |
| «Свеча — на праздничном столе...» | 163 |
| «В конце, давно наставшем, света...» | 164 |
| «Намечен белым день поминовенья...» | 165 |
| «От милой компании невыносимой...» | 166 |
| «Не созрев для заботы о славе мирской...» | 167 |
| Утонувшая память | 168 |
| «Печальны тромбоны, не взявшие нужного тона...» | 169 |
| «Изобразить Святого Духа...» | 170 |
| «Окончание времён ожидается всегда...» | 171 |
| Переделкино | 172 |
| 1. «Река осталась подо льдом...» | 172 |
| 2. День юбилея революции | 173 |
| 3. «Как Битов писал, я живу у могилы поэта...» | 174 |
| 4. «За окном постепенно тускнеют цвета Хохломы...» | 175 |

| | |
|---|-----|
| «Безвестную жизнь в историческом граде...» | 176 |
| «Чёрный ангел и ангел белый...» | 176 |
| «Тревожно годы коротаю...» | 177 |
| «Безрукий цирюльник, лелеющий бритву...» | 178 |
| «Лети себе. На вольный монгольфьер...» | 179 |
| «Не разорюсь на похвалы Востоку...» | 180 |
| «Из-под руки разглядываю дали...» | 181 |
| «Поспорим, вкус есть функция ума...» | 182 |
| «Дворовый джаз играет безобразно...» | 183 |
| «Дирижёр поздравляет оркестр городской...» | 184 |
| «Кому-то дождь напомнит о тамтаме...» | 185 |
| «Унесут на груди пулемётные ленты матросы...» | 186 |
| «Хотелось, аки по суху, — по хляби...» | 187 |
| «Когда тревожит злоба дня...» | 188 |

Из немецкой тетради

| | |
|---|-----|
| «Шар Монгольфье наполнен сладким дымом...» | 190 |
| «Смена сезонов всегда застигает врасплох...» | 191 |
| Нью-Йорк, осень 2001 года | 192 |
| «Небо внутреннего мира затянуло облаками...» | 193 |
| «Пусть ты живёшь на женской половине...» | 194 |
| На дирижабле | 195 |
| «Мы нарочно оставляем нерастраченными сны...» | 196 |

Литературно-художественное издание
Серия «Поэтическая библиотека»

Фадин Вадим

Утонувшая память

Корректор
Ирина Машковская

Вёрстка, оформление
Юрий Васильков

Подписано в печать 05.05.2011
Формат 70×108^{1/32}
Усл.-печ. л. 9, 1
Бумага писчая. Печать офсетная
Гарнитура Charter. Тираж 1000 экз.
Заказ №

«Время»

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25

<http://books.vremya.ru>

letter@books.vremya.ru

(495) 951 55 68

Отпечатано ОАО ИПП «Уральский рабочий»

620041, ГСП-148, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

book@uralprint.ru